

Осень на краю

Автор:

Елена Арсеньева

Осень на краю

Елена Арсеньева

Русская семейная сага #2

Первая мировая война. Агония старой России... Вот-вот изменится государственный строй – да так, что страшное эхо прокатится по всему миру. Но страсти, которые правят человеческим сердцем и ведут по жизни людей, остаются все теми же! Мечтает о мести сосланная на Дальний Восток, вконец озлобившаяся Марина Аверьянова. Сгорает от любви к актеру Игорю Вознесенскому так и не нашедшая счастья в семейной жизни ее троюродная сестра Саша Русанова, теперь Аксакова. Ее муж Дмитрий ежеминутно рискует жизнью на фронте, а брат – пытается выследить таинственных подпольщиков... И никому из них не ведомо, что впереди – очередной трагический излом судеб, который обрушится на них в одну роковую осень...

Елена Арсеньева

Осень на краю

Где-то, когда-то, давным-давно тому назад...

И. Тургенев

И под божественной улыбкой,

Уничтожаясь на лету,

Ты полетишь, как камень зыбкий,

В сияющую пустоту...

А. Блок

Из газетных сообщений

26 июля сего 1914 года Государь принял членов Государственного Совета и Думы и обратился к ним со следующими словами:

«Приветствую вас в нынешние знаменательные и тревожные дни, переживаемые всей Россией. Германия, а затем Австрия объявили войну России. Тот огромный подъем патриотических чувств любви к родине и преданности престолу, который, как ураган, пронесся по всей земле нашей, служит в моих глазах и, думаю, в ваших ручательством в том, что наша великая матушка Россия доведет ниспосланную Господом Богом войну до желанного конца. В этом же единомышленном порыве любви и готовности на всякие жертвы вплоть до жизни своей я черпаю возможность сдерживать свои силы и спокойно и бодро взирать в будущее. Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах земли своей, но боремся за единокровных и единоверных братьев-славян, и в нынешнюю минуту я с радостью вижу, что объединение славян происходит так же крепко и неразрывно со всей Россией. Уверен, что вы каждый на своем месте поможете мне перенести ниспосланное мне испытание и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог земли Русской!»

Из стенограммы заседания Государственной Думы, посвященного началу войны с Германией (26 июля 1914 г.)

Керенский (Трудовая партия):

– Трудовики верят, что на полях бранных, в великих страданиях укрепится братство всех народов России, родится единая воля (общие рукоплескания) и

освободит страну от страшных внутренних пут. Глубоко веруя в единство всех трудящихся классов всех стран, шлем свой братский привет всем протестовавшим против подготовлявшейся братоубийственной брани народов. Крестьяне и рабочие, все, кто хочет счастья и благополучия России, в великих испытаниях закалите дух ваш, соберите ваши силы и, защитив страну, освободите ее. Вам же, нашим братьям, проливающим кровь за родину, наш низкий поклон и братский привет! (Общие рукоплескания.)

Милюков (Партия народной свободы):

– Россия, пройдя через тяжкие испытания, станет ближе к своей заветной цели. Грозная и величественная задача стоит перед нами и повелительно требует немедленного разрешения. Нам нужно сосредоточить все свои силы на защиту государства от внешнего врага, вознамерившегося столкнуть нас со своего пути к мировому господству. Наше дело – правое дело, мы ведем борьбу за освобождение нашей родины от иноземного нашествия, Европы и славянства от германского преобладания и всего мира от невыносимого гнета постоянно растущих вооружений. (Рукоплескания, возгласы «браво!».) В этой борьбе мы все заодно, мы не ставим условий и требований, мы просто кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть насильников! (Рукоплескания на всех скамьях, возгласы «браво!».)

Граф Мусин-Пушкин (Октябристы):

– Избранники земли Русской, братья! Бывают в жизни народной минуты, когда все мы, мысли все, чувство, весь порыв народный должны выразиться в одном только кличе. Пусть будет этот клич: Бог, Царь, Народ и наша победа над врагом! (Шумные рукоплескания.)

Пролог

Август 1914 года

Из писем Дмитрия Аксакова жене. Действующая армия, расположение наших частей.

«Здравствуй, Александра.

Вчера заглянул в письмо, которое строчил писарь под диктовку одного из моих рядовых. Начало самое что ни на есть патриархальное: «Во первых строках моего письма спешу сообщить Вам, дорогая наша супруга, что я, Ваш муж и пеший ратник Иван Алексеев, жив и покуда, попечением Господним, еще вполне цел и здоров».

Замени «пешего ратника Ивана Алексеева» на «штабс-капитана Дмитрия Аксакова» – и довольно. Под каждым прочим словом я охотно подписываюсь.

Наконец-то уллучил эту минуту – написать тебе! Давно надо бы, понимаю, ведь уже три недели я в действующей армии, но за эти дни обрушилось столько ярких, новых, волнующих переживаний и впечатлений, что в результате в голове образовался полный сумбур, мысль не хочет принять определенного направления, а скачет и перепрыгивает.

Писать на походе или в бою нет времени и места, а если выдается свободный час-другой, то стремишься его использовать для сна, чтобы набраться покрепче сил. Последние две ночи пришлось провести в окопах: с рассветом начиналась перестрелка.

Бои я подробно не описываю, так как нельзя этого описывать в письме. Страшно только первые пять-десять минут, а потом совершенно ничего не чувствуешь и даже не сознаешь, существуешь ты или нет, живешь ты или тебя уже убили. Находишься в каком-то азарте, но зато вечером какой упадок сил! После первого боя, сидя уже за столом, я заснул во время еды, и картошка упала из рук на полдороге ко рту.

Вообще, как только скрылся неприятель, совершенно забываешь, что находишься на войне, – словно в учебном походе. Мне кажется, что и войны совсем не было...

Помнишь каток на Черном пруду, и студеный ветер, и какие у тебя были твердые от мороза, румяные щеки, и как я обнимал тебя за талию, пока мы выписывали

«восьмерки», и шептал в твое разгоревшееся от моих губ ушко: «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила...»? Вспоминай эти слова как можно чаще! Не забывай, что ты была моей первой любовью, пусть всего лишь юношеской и даже полудетской, но – любовью. Говорят, первая любовь не исчезает бесследно. Может быть, может быть... Я готов в это поверить, ведь волны жизни прибили нас друг к другу именно тогда, когда каждый уже позабыл прошлое и готов был искать другого счастья. Возможно, мы и впрямь были предназначены друг другу. И то, что происходило между нами в купе курьерского поезда, уносившего нас в Москву после нашего венчания, для меня исполнено того же священного смысла, что и беспрдельно печальный пушкинский речитатив, который я когда-то шептал тебе с разухабистой, бессмысленной, юной веселостью. Однако я прекрасно понимаю, что сейчас мы с тобой – всего лишь венчанные любовники, еще не успевшие стать воистинсупругами, то есть людьми, которые будут всю жизнь идти рядом, в однойупряжке. Сейчас на всем свете нет ни одного человека, которому я мог бы доверить страшную тайну (экие пошлые слова, однако они соответствуют действительности, как и всякая пошлость... ведь первоначальное значение этого слова есть «обыденный, навязший в зубах»), которая меня обременяет, нет ни одного человека, на чьи плечи я могу переложить хотя бы часть той ноши, которую принужден влачить. Но я очень хочу, чтобы ты поверила мне, поверила вполне: я не интересничаю и не нагоняю пустых страхов. Опасность, которая нависла надо мной, а через меня, увы, над тобой, в самом деле велика! Дело в твоём приданом, в этих несметных, случайных, дурных деньгах... Понимаешь, если бы не война, у меня бы не было выбора, я бы поступил так, как мне предписывалось, но война в какой-то степени предоставила мне возможность для маневра. В любом случае я уповаю на лучшее и постараюсь использовать все предоставленное мне судьбой время для того, чтобы... чтобы выбраться из той ямы, в которую я угодил не по злонамерению, а лишь по неосторожности. Угодил сам – и невольно увлек за собой и тебя, и всех моих и твоих близких.

Всё, более ничего не могу сказать. Чем меньше ты будешь знать, тем спокойней будешь себя чувствовать. Поверь, что я думаю о тебе постоянно, что я молюсь о тебе, молю Бога, чтобы дал тебе веры в меня и твердости духа. Это будет тем более трудно, что больше ты не получишь от меня ни одного письма. Ни ты, ни мой отец, ни моя татап. То есть нет, я не совсем точно выразился. Я буду писать тебе, как же иначе, и писать часто, но адресовать эти письма я буду некоей даме, соседке моей матери по имению. Чтобы пресечь могущие у тебя возникнуть ревнивые подозрения, скажу, что это почтенная особа, замужняя и имеющая детей (муж ее, правда, преизрядный балбес, но сие не имеет к делу никакого отношения), близкая приятельница татап, ей вполне можно доверять.

Она будет передавать мои письма маман, ну а та уж тебе. Но при этом ты должна (я не зря дважды подчеркиваю это слово!) делать вид, будто ничего не знаешь обо мне. Такую же роль предстоит играть моей матери.

Скрывай даже от твоих родных, от отца, от Шурки и Олимпиады Николаевны. Ну и от подруг, конечно. А в первую очередь – от твоей тетки Лидии Николаевны Шатиловой. Прежде всего – от нее! Не стану ничего объяснять, потому что не могу объяснить. Просто поверь! Делай вид, что ты крайне обеспокоена, что ты обижена, озлоблена, что оскорблена и забыла о самом факте моего существования, делай, словом, какой угодно вид – только не выдавай никому ни номера моей воинской части, ни места ее расположения. Не обмолвись ни словом о тех новостях, которые я буду тебе посылать. Маман моей, конечно, будет проще: она живет в глуши. Ты – на виду...

Тебе придется трудно.

Я ничем не успел заслужить твоего доверия. Я вовлек тебя в этот брак, как в сущую авантюру, а теперь смиренно признаю, что авантюра оказалась опасной, может быть, смертельно опасной. Я не имею права тебя о чем-то просить. И все же прошу... прошу ничего обо мне не знать до тех пор, куда я не дам новых распоряжений.

И еще об одном прошу, нет, даже умоляю: не забывай меня. Ты неверишь, ты никогда неверишь, до какой степени мне нужно знать, что ты помнишь меня и думаешь обо мне!

Целую тебя, целую. Храни тебя Бог!

Твой муж Дмитрий Аксаков».

1916 год

Марине снилась Волга. Волга под Откосом. Неподалеку, на Верхней Волжской набережной, играл военный оркестр – бухал барабан, и литавры звенели назойливо, а Марина стояла у самой кромки волн и бросала в реку какие-то

красные цветы на длинных стеблях. Иногда она воровато оглядывалась по сторонам: ведь никто не должен был знать, что она делает. Почему? Неведомо. Это была одна из тайн, сохранение которых иногда властно диктуют нам наши сновидения, не затрудняясь объяснением причин. И вдруг, бросив случайный взгляд на свои руки, Марина обнаружила, что с них в воду стекает кровь. Руки ее полны не цветами, они обгарены кровью!

Не веря глазам, Марина поднесла пальцы к лицу – и проснулась.

Резко села на своем узком, неудобном диване.

Темно, лишь блеклая лунная полоска, пробившаяся сквозь щелку в ставнях, лежит на полу.

Тихо, слышно только легкое дыхание Павлика да негромкое, сладкое сопение Сяо-лю.

Ночь. Марина у себя дома. Нет, не там, в Энске, в двухэтажном особняке на Студеной улице. Она в городе Х., в своей бревенчатой избенке, стоящей на самых окраинах Тихменевской улицы, протянувшейся вдоль Артиллерийской горы, за железнодорожными путями (дальше только городское кладбище), в глубине старого, одичавшего сада. Уже полтора года, с тех пор как родился Павлик, это дом ссыльнокаторжной поселенки Марины Аверьяновой, выхлопотанный для нее в городской управе доброхотным старанием купца первой гильдии Василия Васильевича Васильева, старинного знакомого ее отца, Игнатия Тихоновича, царство ему небесное!

Старинный знакомый отца... Нет худшей рекомендации в глазах Марины Аверьяновой!

Она тряхнула головой. Да что такое? Вроде проснулась уже, а литавры отчего-то все звенят, и барабан по-прежнему бухает. Но какой же может быть оркестр среди ночи?

Наконец сообразила, что звуки доносятся со стороны двери.

Соскользнула с дивана и ступила босыми ногами на прохладный некрашенный пол. Она наперечет знала все скрипучие половицы – Павлик в младенчестве спал беспокойно, вздергиваясь от каждого неосторожного шума, это теперь сон его сладок и безмятежен, – и беззвучно прокралась к двери.

В ее избушке, как почти во всех обывательских домиках города Х., дверь была двойная. Первая дверь закладывалась изнутри засовом, точно так же запиралась и вторая. Между ними находились небольшие сенцы. Внешнюю дверь запирали только на ночь, днем она обычно оставалась приотворенная, но для того, чтобы хозяева могли видеть, кто вошел в сени, на внутренней двери было небольшое окошечко, забранное створочкой.

Это окошечко Марина ненавидела лютой ненавистью. Оно напоминало тот «глазок», через который заглядывали надзиратели в камеру Энского острога, куда в мае четырнадцатого года была заключена Марина Аверьянова и откуда она отправилась в ссылку в Приамурскую губернию. Правда, «глазок» был зарешечен и закрывался створкой с внешней, коридорной стороны, а окошко на двери Мариной избенки – с внутренней. Да невелика разница! Она в это окошко никогда не выглядывала, но сейчас осторожно сдвинула створку – и тотчас вернула ее на место прежним бесшумным движением.

И замерла, лишившись дыхания, покрывшись липким потом от страха.

Внешняя дверь, которую она с вечера собственноручно заперла на железный засов, оказалась распахнута настежь. Лунный свет щедро вливался в сенцы, на полу которых сидел ражий (он показался Марине огромным!) мужик с бритой головой, одетый в какое-то заскорузлое рваньё, и кайлом раскачивал дверь. Изредка кайло срывалось и издавало те самые металлические звуки, которые и разбудили Марину.

Кат! Беглый каторжник! С Сахалина ли, из зейских ли лесов, с амурских ли угольных копей прибрел он сюда, чтобы ворваться в стоящую на отшибе избенку и поживиться всем, что найдет, без раздумья и жалости прикончив хозяев...

Бритая башка... пустые, оловянные глаза... беспощадные руки... лишенные жалости сердца... Сколько такого отребья навидалась Марина в своем пути от Энска до города Х., сколько страхов натерпелась на пересылках, как возненавидела уголовных каторжников! Давно ушли в прошлое времена

идиллических благоглупостей, когда она всякого заключенного, всякого острожника считала жертвой «антинародного царского режима» и относилась к этим «жертвам» с глупым щенячьим заискиванием. Ни жалости, ни даже легкого сочувствия не вызывала теперь у нее уголовная шваль. И что с того, что и она, и этот кат, рвущийся в ее дом, – оба они заклеены именем «преступник», что оба они лишены свободы? У нее и мысли нет распахнуть ему «братские объятия», как «товарищу по борьбе», и единственная надежда спастись от этого «товарища» – обратиться за помощью к «проклятым псам самодержавия», к «опричникам», то есть кинуться в полицию!

Легко сказать... Но как это сделать?

Боже упаси поднять крик или хоть малейший шум – каторжник снесет засов в несколько минут и мигом ворвется в дверь. Пока он думает, что у него впереди вся ночь до рассвета, пока надеется напасть на спящих, он будет осторожничать. Значит, в доме должна блюстись сонная тишина. Только бы не проснулся Павлик! Его крик разъярит, раззадорит злодея.

Марина с легкостью, неожиданной в ее грузном теле, метнулась за занавеску, где на одной широкой лавке стояла плетенная из тальника (так здесь называли иву) корзина – Павлушина колыбелька, а на другой, свернувшись калачиком, спала маленькая нянька Сяо-лю, и, ладонью зажав ей рот для надежности, другой рукой легонько потрясла ее за плечо, выдохнув чуть слышно:

– Проснись, Сяо-лю! Проснись!

Девчонка резко села, со сна бестолково взмахнула руками, и в темноте испуганно замерцали ее темные, косенькие глазенки.

– Каторжник ломает дверь! – шепнула Марина, прильнув губами к уху девочки. – Ты должна вылезти в окошко, а потом бежать в участок. Слышишь? Веди сюда полицию! Не то он всех нас убьет!

Сяо-лю моргнула, что означало – она слышит, она все поняла, и тут же взгляд ее, прикованный к лицу Марины, перебежал в сторону, к колыбели Павлика.

Марина поняла значение этого взгляда. Сяо-лю хотела сказать, что она возьмет с собой ребенка.

– Его нельзя будить, – прошелестела губами в ответ на безмолвный вопрос. – Закричит, и тогда убийца может ворваться. Беги скорей!

Темные глаза вернулись к лицу хозяйки и влажно заблестели. Марина поняла, что они наполнились слезами. Она читала в этой чистой душе, как в незамысловатой книге.

– Мне не пролезть в окошко, – качнула головой. – Бежать должна ты одна.

Сяо-лю снова моргнула, и Марина наконец отняла ладонь от ее губ.

Без малейшего шума Сяо-лю соскользнула с лавки, на миг замерла около колыбельки, наклонилась над спящим Павликом, потом выпрямилась и метнулась к окну. Ее крошечные босые ножки, по счастью не изуродованные бинтами, как у высокородных или зажиточных китаянок, словно бы не касались пола. Вот она остановилась перед окном, сунула под халат свою длинную черную косу, чтоб не мешала, и тихо-тихо потянула болт ставни.

«Только бы не заскрипел!»

Нет, болт вышел легко, а вот когда Сяо-лю принялась открывать окошко, задребезжало плохо пригнанное, замазанное стекло. Марина облилась холодным потом, но тотчас перевела дух, понимая, что за скрежетом своего кайла каторжник вряд ли расслышит это слабое дребезжанье.

Сяо-лю легко вскочила на лавку, стоявшую под окном, и проворно выскользнула наружу.

Марина притаилась возле окна. Вот донеслось отдаляющееся шуршание бурьяна, потом чуть слышный скрип... Он означал, что Сяо-лю прокралась не через ворота, ведущие на улицу (здесь каторжник легко мог ее заметить), а через укромную калитку в заборе, ограждающем сад со стороны кладбища. Теперь она пробежится через кладбище, а оттуда побежит к вокзалу, где всегда, даже по ночам, найдешь полицейского.

Умница, какая умница эта маленькая уродливая метиска, шестнадцать лет назад родившаяся от совершенно невероятной связи китайца и женщины из племени

гольдов! Китайцы – довольно красивая раса, причем несмотря на то, что здесь, в Х., им приходится заниматься самой незначительной работой: огородничать, портняжить, торговать всякой, как говаривали в старину, мелкой щепотью, несмотря на то, что они почтительно кланялись всякому русскому, приговаривая: «Дластуй, капитана! Дластуй, мадама!», несмотря на кличку «ходя-ходя», которой их называли все, от мала до велика, в Х., внутри своего клана китайцы умудрились сохранить национальное достоинство и весьма блюли чистоту своей крови. Гольдов и гиляков, обитателей амурских низовьев, живших исключительно рыбалкой да охотой, считали никудышными дикарями и откровенно выказывали им свое презрение. Однако китаец Чжэн все же обрюхатил плосколицую, узкоглазую, кривоногую рыбачку, изредка торговавшую на Плюснинке, на Нижнем базаре, кетой. И вот как-то раз она приплыла в Х. на оморочке (так гольды называли узкую, длинную, долбленную из дерева лодчонку, которая управлялась двухлопастным веслом), бросила ее на базарной пристани и, переваливаясь, точно уточка, придерживая руками выпуклый живот, отправилась к дому, где жил сам Тифон-тай, старый и очень богатый китаец, глава китайской общины в городе Х. и его окрестностях. Именно перед его домом уселась беременная гольдячка прямо на мостовой и сидела так, потупившись, молча, не трогаясь с места, прикрыв узкие глаза толстыми веками и понутив голову, волосы на которой, по обычаю, были смазаны ворванью, отчего напоминали толстые, жирные черные нити.

Китайцы, следуя примеру Тифон-тая, ходили мимо нее, словно мимо пустого места. Женщина сидела сутки и еще сутки, не проглотив ни куска, не выпив ни капли воды, даже за нуждой не отходя, только сосала свою длинную трубку, в которой уже давно кончился табак (гольдячки без этих своих трубок, набитых крепчайшей махоркой, шагу не шагнут!), являя собой молчаливое олицетворение терпения и покорности. А потом вдруг повалилась на бок и принялась возить по булыжнику ногами, стонать и задирать на себе ровдужный,[1 - То есть сшитый из ровдуги, рыбьей кожи. (Прим. автора.)] вышитый тусклым гольдяцким бисером халат. Тифон-тай, несколько раздраженный затянувшимся присутствием рядом со своим домом низшего существа, послал служанку посмотреть, что затеяла эта дикарка. Служанка засеменила своими маленькими, изуродованными ножками, раскачиваясь, словно тростник, колеблемый ветром (собственно, именно ради этой походки китайцы и перебинтовывали женские ножки, сгибая их наподобие копытца), выбралась кое-как за ворота, наклонилась, прикрываясь веером, над слабо стонущей женщиной, а потом громко ахнула и со всей возможной прытью устремилась обратно, громко стуча деревянными подошвами своих туфель. Воротясь, она доложила, что «дикарка» затеяла рожать ребенка и одновременно «уходить в буню». На языке гольдов это

означало – уходить к праотцам, то есть умирать.

Тифон-тай быстро считал не только деньги. Он мигом сообразил, какой урон его репутации среди русских «капитана» и «мадама» нанесет смерть беспомощной женщины у ворот его роскошного дома, и приказал подать ей помощь. Но оттого ли, что предки гольдячки уж очень хотели ее видеть, по другой ли какой причине, однако та вскоре умерла. Правда, перед тем как навеки закрыть глаза, она успела прошептать по-русски (это был язык международного общения в городе Х. и вообще на Дальнем Востоке, даже наглые американские китобои-браконьеры принуждены были его учить!), что отец ее ребенка – китаец Чжэн...

Тифон-тай не унился до того, чтобы подвергнуть сомнению слова умирающей. А припертый к стенке Чжэн не унился до того, чтобы оправдываться. Он просто-напросто к исходу дня ушел из Х., благо был еще молод и не обременен семьей. Больше о нем никто и никогда ничего не слышал. Ну а малявка, названная почему-то Сяо-лю, что означало «уточка», выросла между узенькими улочками «шанхая», китайской слободки, и русскими улицами. Видимо, инстинктивно ощущая себя чужой и среди китайцев (нечистая кровь, косоротились они при виде ее, наполовину гольдячка, дикарка!), и среди гольдов, которые ее вообще сторонились и при встрече начинали делать руками охранительные знаки (ребенок, стоивший жизни матери, считается у гольдов существом опасным, отмеченным печатью зла), Сяо-лю тянулась именно к русским. Тем паче что Тифон-тай, повинаясь непонятной причуде сердца, а может быть, как и всегда, трезвому житейскому расчету, приказал крестить девочку в православной церкви (к слову сказать, именем Пелагеи). Впрочем, Сяо-лю выросла не слишком-то истовой христианкой: молиться не умела, к Богородице относилась почему-то неприязненно, однако обожала младенца Христа. Из нее каким-то образом получилась удивительная нянька: заботливая, любящая, веселая, нежная. К тому же она была неглупа, молчалива, послушна, не гнушалась никакой работой по дому, что весьма роднило ее с китаянками, зато уж неприхотливостью могла поспорить с любой гольдячкой. Курить, правда, не курила, но, как и все обитатели амурских берегов, до одури любила крепчайший, непроглядно черный горячий чай, желательно с диким таежным медом.

Когда ее покровитель умер, Сяо-лю прибилась на задворки военного лазарета, что стоял на Артиллерийской горе, над самым Амуром: кормилась солдатскими объедками, которые выискивала украдкой среди отбросов. Там ее и увидела милосердная сестра Елизавета Васильевна Ковалевская, водившая дружбу с

семьей купца Васильева и зная, что Васильевы опекают высланную из Энка беременную «политическую» Марину Аверьянову. Когда Марине пришло время рожать, Сяо-лю, отмытая в лазаретной бане и приодетая в новый сатиновый халат, уже хозяйничала в ее избенке близ кладбища. Марина не могла нахвалиться нянькой, которая обожала Павлика и клялась в вечной благодарности своей «мадаме Маринке». Ну что ж, очень скоро станет ясно, что понимает Сяо-лю под словом «благодарность»...

О нет, не слишком скоро, рассудила Марина. Раньше чем за полчаса ей не обернуться. Ножки-то у нее проворные, слов нет, однако пока добежит до вокзала, пока растормошит спящих полицейских, пока те возьмут в толк, о чем лопочет перепуганная девчонка... На счастье, по-русски Сяо-лю говорит вполне хорошо, хоть и коверкает язык, как все китайцы. И Марина невольно улыбнулась, представив, как Сяо-лю начнет причитать в участке: «Ой, капитана, скорей безай! Хунхуза дверь ломай, мадама Маринка убивай, Павлисика убивай! Скорей левольвера, саску забирай, безай, спасай!»

Ну, что хунхузами китайцы называют разбойников, всем известно. Может быть, и в самом деле городовые с револьверами и шашками быстро придут на помощь...

Павлик сонно вскрикнул, и у Марины замерло сердце.

– Господи, – пробормотала она враз пересохшими губами, – помоги!

И тут же устыдилась этого ветхозаветного порыва. На Бога надейся, а сам не плошай, вот главная мудрость, которую она усвоила в жизни. Бог на стороне сильных, несправедливых, Бог на стороне тиранов, злодеев. И можно не сомневаться, что сейчас небесный старикашка с нимбом вокруг лысой головы поможет не Марине, а этому ужасному мужику, который с тупым упрямством ломает дверь кайлом... потом тем же кайлом он забьет до смерти Марину и Павлика, а сам начнет шарить по их скудным пожиткам и жрать густую, наваристую уху из горбуши. Уха стоит в чугушке в печи, Марине и Сяо-лю ее хватило бы на два дня...

А если кинуться ему в ноги? Самой отдать все, что у нее есть, те небольшие деньги, которые заработала своим ремеслом фельдшерицы? Самой налить ему ухи и завернуть в чистую тряпицу хлеба на дорогу?

Может, помилосердствует?

Нет, вряд ли. изнасилует, да все равно убьет.

Мысль о теле грязного мужика, о любом мужском теле показалась настолько омерзительной, что Марина едва справилась с припадком тошноты.

В ее жизни – в той жизни, которую она уже два года пыталась забыть, да никак не могла, – был только один мужчина, но он предал ее, и с тех пор на этих животных Марина не могла смотреть без отвращения. Пусть уж лучше убивает сразу...

Внезапно стук умолк. Неужели каторжник сейчас ворвется?!

Марина с ужасом уставилась на дверь. В сенях какая-то суeta, возня, глухой стон... и тут же радостный писк:

– Мадама Маринка! Отворяй!

Боже мой, да ведь это голосишко Сяо-лю! Неужели она уже вернулась с полицией? Так быстро? Быть не может. Или встретила наряд на обходе?

Марина кинулась к двери, но руки тряслись, никак не получалось отодвинуть засов.

– Мадама Маринка!

Голос Сяо-лю теперь слышался со стороны окна, и вот в лунном свете замаячила ее черноволосая голова.

– Отворяй! – шептала девчонка, даже сейчас не забывавшая, что главное – не разбудить Павлика. – Хунхуза больше нету, добрый капитана убивай хунхуза.

Какой-то «добрый капитана» убил ката. Полицейский, что ли? Да нет, вряд ли стал бы полицейский убивать беглого каторжника, он бы повязал его, притащил в участок, а потом отправил по этапу туда, откуда тот бежал.

Тогда что все это значит?

Марина помогла Сяо-лю влезть в кухню:

– Ты была в полиции?

– Нет. – Девчонка мотнула головой, и черная коса, выскользнувшая из-под ворота халата, заметалась по спине. – Моя в полицию не ходи, нет! Моя на кладбище безай, капитана там гуляй. Моя крисай, плакай: «Ой, скорей, скорей безай помогай, капитана! Мадама Маринка плохо! Беда мадама Маринка!» Капитана железяка хватай, безай, хунхуза убивай, мадама Маринка спасай. Надо капитана двери открывай, спасибо говори!

И Сяо-лю метнулась к двери, отодвинула засов.

Марина ахнула, прижала руки к горлу, давя тошноту: у порога тяжелым мешком лежало неподвижное тело ката. На бритой голове – кровавая пузырящаяся яма.

Чем же его навернул «добрый капитана»? Какую «железяку» он схватил на кладбище? Лом, что ли? Лопату? Может быть, этот «капитана» – могильщик, которому не хватает времени рыть могилы днем, вот он и трудится ночью?

Однако где же он, ее спаситель? Куда пропал?

Тем временем Сяо-лю подобрала повыше халат, перескочила через труп, словно и впрямь через мешок, огляделась, выскочила на крыльцо. Слышно было, как она бегала по утопанной земле двора, стуча босыми пятками, потом шуршала травой, мечась по огороду... Наконец девчонка снова возникла в сенях, потерянно разводя руками:

– Нету капитана! Убезай!

Ну, это Марина и сама уже поняла.

* * *

В начале февраля Шурка Русанов возвращался от приятеля, с которым вместе делал контрольную по тригонометрии, как вдруг увидел, что по Варварке валом валит народ – и все спешат в одном направлении, к Острожной площади. С ног сбиваются, некоторые, более нетерпеливые, переходят на бег, лица у всех возбужденные...

На глаза Шурке попался знакомый гимназист, Владик Введенский.

– Что такое, куда народ бежит? – спросил Шурка. – Пожар, что ли?

– Винный склад загорелся, – бросил на бегу Владик.

– Чего, извините, врете, молодой человек? – обиделся пожилой человек в картузе, по виду мастеровой. – Никакого пожара нет! Пленных немцев сейчас в Острог поведут, значит.

– Пленных? – оживился Шурка. – Пойти разве и мне посмотреть...

На углу Острожной площади и Варварской улицы уже собралась порядочная толпа – преимущественно простого народу. Все были очень оживлены, разговоры не смолкали. Любопытный Шурка знай вертел головой, стараясь все разглядеть и расслышать.

– Пять тысяч, слышно, пленных-то, народ всё здоровущий... – всплескивала руками востроносая бабенка. – Супротив каждого по два солдата идут с ружьями, а позади офицер с саблей.

– Ну, сразу видно, что дура, – хохотнул мастеровой, виденный Шуркой еще на Варварке. – Зачем на каждого пленного по три человека караулу? На десятерых одного достаточно.

– Сам-то умен! – обиделась бабенка. – Он, немец, хитрый: изловчится да и пырнет солдата!

– Чем же он пырнет, без оружия-то? Захлопни говорилку, тетка, завралась! – начал сердиться мастеровой.

– А что, православные, слышь, Вильгельма, анпиратора германского, тоже поведут? – пробилась в первые ряды монашенка в черной косынке.

– Откуда ты, сестрица, такое взяла?

– Один человек говорил, что в газетах это пропечатано: Вильгельма-де на Сахалинный остров сошлют, а покуда он здесь, в Остроге, сидеть будет.

– Ерунда! – раздался важный голос, в обладателе которого сразу можно было распознать человека начитанного. – В газетах писали, дескать, вот такие же темные, как вы, невесты с чего болтают, будто Вильгельма на Сахалин сошлют...

– Ишь какой светлый! – обиделась монашенка. – Мы тоже газеты читаем, знаем, что к чему!

Вокруг нее собрались бабы, закивали согласно.

Обладатель важного голоса выбился из толпы и оказался мужчиной лет сорока с приказчицей внешностью.

– Касательно Вильгельма полагаю, – изрек он, – что это одна стратегичность, потому что не приходилось читать, чтобы который-нибудь Вильгельм в плен попался...

– А рази не один он?! – в ужасе спросили бабы.

– Супротив нас пять Вильгельмов воюют, – пояснил приказчик. – Главный Вильгельм, немецкий, потом Вильгельм баварский, Вильгельм дунайский, Вильгельм албанский, Вильгельм дурацкий...

– Ой, бабыньки, страсти-то... – возопила востроносая.

– Ну и чепуха, – встрял Шурка. – Вильгельм албанский и правда есть, а дурацкого нет. Дураццо есть, город в Албании...

Образованность свою он показывал зря, никто его уже не слушал.

– Ведут!

Зрители шарахнулись к площади, толкая и давя друг друга, но тревога оказалась ложной.

Вечерело. Нетерпение любопытных нарастало. Вдруг прошел слух, что пленных провели Покровкой. Разочарованная толпа быстро растаяла.

Шурка пошел домой, но близ часовни Варвары-великомученицы его остановил какой-то невысокий лысоватый человек в куцей фуражке, поношенной шинельке без погон и знаков различия, давно, такое впечатление, перешедшей из разряда одежды военной в разряд штатской, повседневной и даже где-то затрапезной. Вообще же встречный напоминал отнюдь не военного, а чиновника, который, может, и знал лучшие времена, а теперь их прочно позабыл.

– Погодите, молодой человек! – вскричал чиновник. – Погодите, Христа ради! Ух, запыхался, сил нет! Вы, случайно, не с Острожной площади возвращаетесь?

– С нее, – кивнул Шурка, слегка замедляя шаг. – Ох, и народищу было! Но уже все разошлись.

– Эх, опоздал я! – всплеснул руками чиновник. – А правду говорят, будто народ там собирался и ждал, что в наш Острог императора Вильгельма посадят?

– Правда, думали, будто его в плен захватили. Вот смехота! Давно я так не хохотал! – оживленно сообщил Шурка.

– Расскажите-ка, – попросил чиновник.

Шурке жалко было, что ли? Конечно, нет. Начал рассказывать. В том числе, смеясь, про «Вильгельма дурацкого». Чиновник сначала просто так слушал, потом достал блокнот, карандаш и принялся делать какие-то почеркушки.

«Зачем бы ему писать? – не прерывая рассказа, размышлял Шурка. – Может, он из какого-нибудь городского управления? По делам пленных или, наоборот, беженцев?»

Карандаш между тем поломался, чиновник с досадой его отбросил. Пошарил по карманам, ничего больше не нашел – и с надеждой воззрился на Шуркин побитый и потертый ранец, висящий не за спиной (этак одни пригостишки ходят!), а небрежно и элегантно – на одном плече:

– Слушайте, молодой человек, вы же гимназист?

– Ну да, – кивнул Шурка.

– Так у вас же небось карандаш есть!

– Ну, есть.

– А сами про все написать сможете?

– Как это? – не понял Шурка.

– Ну как пишут? – пожал плечами чиновник. – Читали небось в газетах раздел «Происшествия»? Вот так и напишите.

– Для газеты?! – не веря своим ушам, пробормотал Шурка.

– Ну да!

– А вы что же, газетчик?

– Ну, знаете! – хмыкнул чиновник. – Газетчик – это который по Покровке носится да орет, словно очумелый: «Новое наступление противника на Западном фронте!»

Он так похоже кричал писклявым мальчишеским голосом, что Шурка невольно захохотал.

– Это – газетчик, – повторил новый знакомец. – А я – газетный репортер. Пишу то, что вы все потом читаете.

– А для какой газеты вы пишете?

– Для «Энского листка», разумеется. А вы что думали, для «Ведомостей» или «Волгаря»? – В голосе репортера прозвучало такое пренебрежение, что Шурке стало ужасно стыдно, что он мог хотя бы предположить подобное.

– Нет, нет, я так и понял, что для «Листка», мой отец его всегда читает, – быстро принялся оправдываться он. – А как ваша фамилия?

– Моей фамилии ты не увидишь, у нас у всех псевдонимы. Мой, к примеру, псевдоним – Перо.

– Перо?!

Шурка чуть не сел, где стоял, прямо в пыль дорожную.

– Здорово! Вот знал бы отец, что я со знаменитым Пером буду разговаривать...

– А кто твой отец?

– Присяжный поверенный Русанов.

– Ну ты только представь: вот открывает отец твой газету, а там – ваша фамилия... Зовут тебя как?

– Шурка... в смысле, Александр.

– Ну вот, открывает он газету, а там заметка и подпись – Александр Русанов. Прославишься! – уговаривал Перо. – И всего-то нужно для этого – сесть и написать про то, как в Энке пленного Вильгельма дурацкого ждали.

– А где писать-то? Прямо на улице, что ли? – спросил Шурка, уже сдаваясь.

– А пуркуа па? – спросил в свою очередь и Перо. – Вон, видишь, какой хороший пенечек, рядом с часовней? Садись, а я подожду. Но ты все же побыстрее пиши, а то февраль ведь, небось не июнь. Холодновато!

Ну, Шурка сел на пенек рядом с часовней Варвары-великомученицы, вынул карандаш, положил на свой твердый ранец листок, вырванный из репортерского блокнота Пера, и в две минуты описал все, что видел и слышал. Перо не успел еще папироску выкурить! Шурка заметил – он курил «любимицу публики, боевую папиросу «Кумир», о которой в «Энском листке» из номера в номер печаталась целая эпопея. «Ну сущая «Одиссея»!» – посмеивался отец, читая о новых и новых приключениях храбреца Маркела, большого любителя папирос «Кумир». Этот Маркел сначала работал на заводе, жил себе да жил, а потом его призвали в армию. На сие событие «Энский листок» совсем недавно откликнулся третьей главой «одиссеи» под названием «Маркел и «Кумир»:

Наш Маркел втянулся в дело:

Бил он немцев лихо, смело,
Быстро навык приобрел,
Как мышей, врагов колол!

Но однажды на разведке
Он застрял во вражьей сетке,
А когда стал вылезать,
Враг давай в него стрелять!

Но Маркел наш сметлив был:

Взял «Кумир» и закурил!
Как отведал немец дыма,
Пропустил он пули мимо!

И, окончивши стрелять,
Стал «Кумира» дым вдыхать.

А тем временем Маркел
Из-под проволок ушел.

И, тевтону дав по шее,
Быстро выгнал из траншеи.
Снова дым «Кумира» спас,
И в который уже раз!

Далее следовало непременно: «Любимица публики, боевая папироса «КУМИР». 20 шт. 16 коп. Упаковка заменяет портсигар. Т-во бр. Шапшал. Продолж. следует».

Словом, Перо не выкурил еще папиросу из «упаковки, заменяющей портсигар», а Шурка уже протянул ему исписанный листок:

– Готово.

Перо взглянул недоверчиво, потом принялся читать. Прочел раз, другой и третий. Лицо его оставалось неподвижным.

«Не понравилось!» – решил Шурка и почему-то ужасно огорчился. Он и сам не мог понять, отчего ему так важно, чтобы Перо одобрил его писанину. Ну, почерк у Русанова-младшего, конечно, не ахти... Нацарапал, будто курица лапой. Надо было писать, как экзаменационное сочинение, буква к букве!

– Что ж, – пробурчал наконец Перо, – на первый раз годится. Конечно, кое-что и кое-где придется поправить, причем поправить немало, но в общей сложности...

– Что, напечатаете? – недоверчиво прошептал Шурка.

– А то! – сказал Перо, убирая листок в блокнот.

– И когда? В каком выпуске? – чуть не подпрыгивая от нетерпения, принялся спрашивать Шурка.

– В ближайшем, – уклончиво ответил Перо. – Ты читай «Листок» – вот и увидишь однажды свое рукомерло. Вы с отцом как, подписчики или в розницу покупаете? Подписка, имей в виду, дешевле выходит.

– Я знаю, – кивнул Шурка. – Нас тетя подписала. Она обожает объявления читать – ну, знаете, про всякие такие дамские глупости, про этот, как его, «всемирно известный крем «Казими-Метаморфоза», единственно признанный женщинами мира. Бесспорно радикально удаляет веснушки, угри, пятна, загар, морщины и все дефекты лица», – процитировал он с бойкостью, делавшей честь его памяти.

– Молодец твоя тетя, знает, что читать, – рассеянно пробормотал Перо, поворачивая в сторону Большой Покровской улицы, где, как было известно Шурке, в доме Приспешникова находились редакция и контора «Энского листка». Но вдруг оглянулся: – Погоди, Русанов. Мы с тобой самое главное забыли.

Шурка думал, Перо сейчас спросит его адрес – ну а как же, ведь в газетах платят репортерам гонорары, и, по слухам, немаленькие, небось и Шурке гонорар за заметку причитается, который отправят по домашнему адресу почтовым переводом. Однако тот озабоченно спросил:

– Как ты думаешь назвать свой матерьяльчик?

Матерьяльчик! Какое слово! Шурка от гордости чуть не лопнул. И пробормотал, чувствуя, как предательски горят щеки:

– Как назвать? А может, так и назвать: «Вильгельмов ждут», а?

– «Вильгельмов ждут»... «Вильгельмов ждут»... – несколько раз повторил Перо. – Ну, не знаю, одобрит ли редактор. У нас, знаешь, редактор – сущий зверь! Какова фамилия, таков и он.

Шурка хихикнул, потому что фамилия редактора «Энского листка» была знатная – Тараканов.

Перо посмотрел подозрительно – наверное, обиделся за это хихиканье – и, не обмолвясь более ни словом, только кивнув на прощание, ринулся в сторону Дворянской улицы – так можно было изрядно сократить путь до Большой Покровки.

– До свиданья! – крикнул вслед Шурка. И пошел себе дальше по Варварке домой, даже не подозревая, что жизнь его с этой минуты совершенно изменилась.

* * *

Конечно, Варя Савельева даже представить себе не могла, что ее ожидает, куда приведет ее судьба, когда в августе 14-го года пошла записываться на курсы Красного Креста. Выяснилось, что она опоздала, – вакансий не было на две очереди вперед, то есть на три месяца! Девушки, опоздавшие со своими заявлениями, а среди них – Варя, Тамара Салтыкова и Саша Русанова, то есть Аксакова (к этому все ее подруги все еще никак привыкнуть не могли, а Варя-то уж тем паче... может, и не привыкнет никогда, хотя уже очень наострилась делать хорошую мину при плохой игре и счастливо улыбаться разлучнице!), растерянно стояли на продуваемой всеми ветрами Верхней Волжской набережной, около ворот городской Бабушкинской больницы, превращенной теперь в главный лазарет Энска, и не знали, что делать. Домой возвращаться несолоно хлебавши?

– Ну и ладно, – сказала наконец Варя, пожав плечами. – Через три месяца так через три. Подождем. Какая, по сути, разница, война в три месяца все равно не кончится, хватит на наш век раненых.

– Да, правда, какая разница? – поддержала Тамара Салтыкова со своей милой, бессмысленной улыбкой. Она никогда ни с кем не спорила, со всеми соглашалась, и эта улыбка почти не сходила с ее лица.

Конечно, полубезумную Тамару было жалко, но иногда она Варю страшно раздражала. Вот как сейчас, например.

– Нет, – покачала головой Саша. – Ждать я не хочу. Просто не могу!

– Конечно, Митя ведь на фронте, и ты должна... – забормотала Тамара.

Варя с отсутствующим видом смотрела на сизую, медлительную Волгу, видную сквозь ветви лип, высаженных на бульваре.

Она была не столь простодушна, как бедная Тamarочка, навеки впавшая в детство. Вот Варя сейчас и размышляла, поглядывая на разлучницу... Сколь мало ни побыли вместе Саша и Дмитрий, немедленно после объявления войны мобилизованный, одну ночь они уж точно вместе провели. С тех пор прошел почти месяц. Сашка наверняка беременна и знает об этом. А через три месяца будут знать все. Как с животом на курсы ходить или в палаты к раненым? Конечно, ей хочется сейчас записаться, и наверняка запишется, она ведь такая пронира... пустит в ход все отцовские связи, а они есть: с энским предводителем дворянства фон Брином, уполномоченным Красного Креста в губернии, Константин Анатольевич Русанов на короткой ноге, выиграл ему какой-то сложный процесс. Будет, будет Сашка на курсах, да и Тамарку протащит с собой, они ведь вечно вместе, словно попугаи-неразлучники! Но надеяться на то, что с ними на курсы попадет Варя, нечего. С какой радости Сашка станет для нее стараться? Да Варя и не нужны ее старания, ее благодеяния – они комом поперек горла станут! И вообще, надоело ей изображать дружбу с той, которая увела у нее жениха. Неужели Сашке не ясно, что Дмитрий только из-за денег на ней женился?!

Даже стоять рядом с Сашей стало противно. Варя наскоро простилась и сделала вид, будто торопится домой. Она взяла извозчика, но поехала не домой, а на Острожную площадь, в небольшой частный лазарет, открытый на собственные средства госпожи Башкировой, и записалась туда на дневные дежурства в палатах. Ладно, пусть ей пока доверяют только читать раненым и писать для них письма домой, пусть и санитаркой придется побыть – Варя и судно вынести не погнушается. Зато к тому времени, как придет ее черед заниматься на курсах, она уже немало будет знать о работе сестры милосердия.

Однако изображать доброго ангела в чистенькой палате номер пять, которая была передана на попечение волонтерки Варвары Савельевой, привелось ей недолго. Через три дня пришел большой поезд с ранеными, и необходимо было срочно менять «полевые» перевязки и даже делать операции. Лазарет Башкировой славился большой операционной, куда иногда привозили раненых даже из общегородского Бабушкинского лазарета и из Заречной части города. Все волонтерки, палатные дежурные сестры, вроде Вари, были «мобилизованы» в помощь хирургам и милосердным сестрам.

Бог весть, что такое показалось в Варином лице главному лазаретному хирургу Полякову, только он хмуро ткнул в нее пальцем и приказал идти в перевязочную с ним, держать ему таз. Варя не совсем поняла, что это значит. С чего-то она

решила, будто это будет таз для мытья рук, и очень удивилась, потому что в лазарете Башкировой имелись краны с горячей и холодной водой. К чему какой-то таз?

Очень скоро она поняла свою ошибку... Ну да, в большом цинковом тазу, который ей вручили, рук никто мыть не собирался, туда бросали – Господи, спаси и помилуй, вот ужас-то! – туда бросали осколки костей, которые хирург вынимал из гнойных ран, ругательски ругая при этом «преступников и дураков», которые так плохо делают перевязки в санитарных поездах.

Впрочем, Варя его почти не слышала. Звон осколков костей, которые падали в ее таз, казался ей оглушительным. И она ничего не видела, кроме зеленовато-желтой гнойной, смешанной с кровью каши, из которой Поляков извлекал белые осколки...

А запах, Боже, этот запах заживо гниющего тела!

«Надо скорей выйти», – вяло подумала Варя, и это была ее последняя связная мысль. Впрочем, девушка еще помнила, как сунула кому-то таз, как двинулась, не чуя ног, к двери, как вышла из перевязочной в прохладу коридора...

Очнулась Варя, лежа на койке в какой-то палате, отгороженная от раненых ширмочкой. Рядом сидела сама хозяйка лазарета, госпожа Башкирова. Больше возиться с Варей оказалось некому: все были заняты с ранеными. Сочувственно покачивая головой и приговаривая: «Ничего, ничего, вы, главное, не волнуйтесь, моя бедняжка!» – хозяйка дала Варе стаканчик с валериановыми каплями и велела лежать тихо, приходить в себя, а если удастся, то немножко вздремнуть.

Варя капли выпила и закрыла глаза. Госпожа Башкирова еще немножко посидела рядом, а потом тихонечко вышла: решила, знать, что «бедняжка» заснула. Но Варя не спала. Она и в самом деле чувствовала себя ужасно жалкой и несчастной, воистину бедняжкой. Ей было скверно – на душе и в желудке, она клялась себе, что ни за что не вернется в эту ужасную перевязочную!

Однако постепенно капли подействовали, и Варя немного пришла в себя. Кое-как сползла с койки и вышла в коридор. Боже, да он полон носилками! Вон сколько народу своей очереди на перевязку ждет!

Раскаяние терзало ее: люди мучаются, а она не может быть им полезной. Не может облегчить их страданий. И всему виной слабое нутро. Неужели нельзя пересилить себя? Ради других? Неужели нельзя?!

По коридору шла госпожа Башкирова:

– Вам уже лучше, моя милая? О, ваше личико порозовело, прекрасно. А я только что из операционной. Там работа идет вовсю! Наш доктор Поляков уже перешел туда и просто чудеса медицинские творит, истинные чудеса! Хотите посмотреть?

Варя не посмела возразить...

Госпожа Башкирова ввела ее в большую комнату, блестящую светильниками. Вокруг стола толпилась масса народу, все в одинаковых белых халатах. Госпожа Башкирова подтолкнула Варю, и та увидела человека, лежащего ничком. Доктор Поляков что-то делал с его спиной. Варя увидела окровавленные руки хирурга, которыми он держал какие-то белые жилы... наверное, вытянутые из спины раненого!

В глазах снова потемнело, Варя пошатнулась...

– Вам, кажется, дурно? – испуганно спросила госпожа Башкирова, охватывая ее за талию.

– Уйдемте, уйдемте отсюда, – пробормотала Варя, сама себя не слыша из-за шума в ушах, и, поддерживаемая госпожой Башкировой, вышла из «этого ада», как про себя окрестила теперь и операционную – вслед за перевязочной.

И тут хозяйку лазарета окликнули.

– Посидите-ка вот здесь, в холодке, вам станет легче, – торопливо сказала она Варе. – Вот здесь, на диванчике.

Диванчик (он почему-то был зеленого цвета, клеенчатый) стоял на лестничной площадке, и здесь в самом деле было прохладно, хорошо продувало сквозняком. Варя словно видела себя со стороны: сестра в форменном сером платье, в

переднике, в косынке с красным крестом сидит на странном зелененьком диванчике, скорчившись, закрыв лицо руками, и имеет ужасно жалкий вид...

Вот стыдоба-то!

«Всё, всё, всё!» – грозно сказала себе Варя, оторвала себя от зеленой скользкой клеенки и двинулась по коридору в проклятую операционную.

Храбро открыв дверь, она остановилась – было страшно, страшно, страшно! Как ребенку, который боится войти в темную комнату, где, очень может быть, прячется домовый или даже оживший мертвец! Но Варя строго сказала себе, что так распускаться сестрам милосердия нельзя, и переступила-таки порог.

Старшая медицинская сестра грозно на нее посмотрела. А Варя не отрывала взгляда от руки, которую сестра держала в своих. Рука (слава те, Господи!) была не отрезана (Варя уже всего ожидала, самого страшного!), а принадлежала мужчине, лежащему на столе. В руке была большая, жестоко развороченная рана, и сквозь лохмотья раскромсанных мышц виднелась кость.

У Вари тотчас заняло в затылке и ладони похолодели, стали влажными... К счастью, старшая сестра повернулась, загородив эту ужасную руку с этой ужасной раной, и начала накладывать повязку. В следующий раз Варя увидела руку, когда та уже была перевязана, приобрела вполне пристойный, даже уютный и отнюдь не пугающий, а внушающий сочувствие вид.

– Савельева, отведите раненого в палату, – сказала старшая сестра сухо, но в глазах ее мелькнуло сочувствие.

Трудно было сказать, кто кого сильнее поддерживал, санитарка раненого или он ее, когда они брели по коридору...

Варя уложила раненого на кровать. Он выпил воды, а потом попросил написать письмо его жене. Оказывается, с тех пор как солдат был ранен, он ничего не сообщал ей о себе: боялся, что умрет, и не хотел писать печальное письмо. А сейчас доктор рану прочистил, выпустил из нее гной, а значит, «антонов огонь» ему больше не грозит и можно подать весточку.

Санитарка принесла чаю и раненым, и Варе. Выпив его, Варя немедленно почувствовала себя лучше и охотно взялась за карандаш. Кажется, ни одно письмо на свете она не писала с таким удовольствием! Этот адрес: деревня Вяземская Х-го уезда Приамурской губернии, Донцовой Марье Илларионовне, – она помнила потом долгие годы и даже имена всех родственников, которым передавались теплые приветы, помнила. Среди несчетных Павла, Игната, Захара, Лукерьи, Дарьи, Аксины, Натальи и прочих дважды прозвучало имя Макар. Варя решила, что раненый (его, к слову, звали Назар Семенович) ошибся, но нет, потом оказалось, что у него в родне и впрямь два Макара: младший брат, который живет не в деревне, а в городе Х., трудится там на заводе «Арсенал», и младший сын, названный в честь отцова брата. Отчего-то и эти Макары запали в Варину голову, как знак чего-то доброго, надежного, приятного. Да уж, конечно, приятней было приветы им передавать, чем обонять запахи крови и гноя, которыми наполнены операционная и перевязочная!

Девушка устыдилась своих мыслей, да так, что в жар бросило. Никому из тех, кто трудится в этих двух страшных комнатах, даже поесть-попить некогда, столь много у них работы, а она тут сидит, чайком балуется да Макарам приветы передает!

Письмо было закончено, и Варя снова заставила себя приблизиться к перевязочной. Ее встретили легкими улыбками, но она постаралась не обращать ни на что такое внимания и, хотя несколько раз выходила продышаться на лестничную площадку, на зеленый клеенчатый диванчик, все же потом возвращалась в перевязочную вновь. И так до конца дня. Да, ей все время хотелось убежать из больницы, ей было тяжело и страшно, но она боролась с собой, как с врагом, и победила-таки. Покидала она лазарет одной из последних, хотя знала, что отцовский экипаж давно ждет у подъезда.

Когда Варя вышла наконец на Острожную площадь, ей показалось, что никогда вечерний воздух не был так свеж. Она с удовольствием пошла бы домой пешком: жалко было садиться в коляску, которая повезет ее слишком быстро, хотелось дышать, дышать, без конца дышать этим чистым, невероятно чистым, золотисторозовым, как закатное небо, воздухом, уже чуть напоенным тонким ароматом близкого осеннего увядания, – но у Вари не было сил даже стоять, не качаясь, не то что гулять!

Ночь она спала без сновидений, но беспрестанно чувствовала усталость во всем теле. Страшным казалось, что к восьми утра нужно снова будет ехать в лазарет,

и утром у нее чуть не сделалась истерика оттого, что показалось: вчерашнее платье насквозь пропахло гноем и кровью... Перепуганные мать и горничная подали ей другое платье – предусмотрительно заказывали два комплекта сестринской формы, чтобы было во что переодеться в случае чего... вот этот «случай чего» и настал! Варя надела чистое и немного успокоилась. Позавтракала очень плотно – за вчерашний день маковой росинки, кроме того стакана чаю, во рту не имела, некогда было поесть. Кто знает, может, и сегодня такое ее ждет?

Этот день прошел гораздо лучше. Варя почти не выходила из перевязочной и даже присутствовала на двух операциях. И все сошло хорошо! Без обмороков и обмираний!

Варя выдержала, даже когда доктор особыми щипцами доставал кусочки раздробленных костей, и они трещали каким-то ужасным, хватающим за душу треском!

Снова ей велели сопроводить раненого до постели (он тоже был определен в ее палату) и дежурить около, пока не отойдет он после наркоза.

– Ну что, сестрица, много у Васьки разбитых костей извлекли? – спросил его сосед по кровати.

– О, да вы знакомы? – удивилась Варя.

– Ну как же не быть знакомыми, коли мы земляки? Оба пензяки толстопятые, – хохотнул раненый. – Ваську пулей «дум-дум» поранило. Слышали про такую?

– Нет, – покачала головой Варя, которая в ту пору, разумеется, ни про какой «дум-дум» и слыхом не слыхала.

– Ну, это страшная штука! – покрутил головой «толстопятый пензяк». – Так называются разрывные пули. У нас многие через них жестоко пострадали. Вот слушайте, что расскажу вам. Уже перейдя через австрийскую границу около Томашева, мы ночевали в австрийской деревне. Здесь были пленные. У одного из них были найдены странные пули в отдельном футлярике. «Для чего у вас

такие пули?» – спросил наш командир. Он слышал про пули «дум-дум», но раньше не видел. Пленный отвечал: «Наше военное начальство раздало такие пули самым хорошим стрелкам и приказало стрелять ими только в офицеров». – «Почему же только в офицеров стрелять?» – удивился наш ротный. «А для того, чтобы они не могли возвратиться в действующую армию, если даже будут только ранеными». Ну так вот, – продолжал раненый, – видать, тот австрияка, который в Ваську пульнул этим «дум-думом», ослеп, коли его за офицера принял. А может, ему все равно было, главное, боезапас израсходовать. Хорошо, в голову не попал, а то бы все Васькины мозги наружу вылетели.

Варя почувствовала, что у нее похолодели руки.

– Ладно тебе барышню пугать, – сказал вчерашний знакомец по имени Назар Семенович Донцов. – Вот я знаете что слышал?

– Ну, что? – лениво отозвался пензяк.

– Что немцы еще похитрей «дум-думов» ваших штуковину придумали. Называется – стеклянные пули. Чтобы пули не разбивались, когда трутся о стенки дула, они заключаются в медные кружки. А когда пуля в тело попадает, она делает почти такое же ранение, как обыкновенная, но, угодив в кость, разбивается и производит очень тяжелое ранение.

– Врешь ты небось, Назар Семеныч, – сказал пензяк. – Сочиняешь! Стеклянные пули... Экая чепуха!

Честно говоря, Варе тоже казалось, что никаких стеклянных пуль не бывает и быть не может. Правда, потом, за те три месяца, пока не пришел ее черед идти на курсы Красного Креста и она не покинула лазарет Башкировой, ей привелось увидеть и последствия ранения стеклянными пулями, и обожженных она видела, и газами отравленных, и людей, у которых части тела были вырваны осколками артиллерийских снарядов, и ослепших, и тех, кто не мог сам есть из-за ранения в челюсть, так что приходилось им в горло вставлять трубку-воронку и с трудом пропихивать туда мелко протертую пищу...

А также она узнала, что руки хирургов на операциях кажутся глупеньким барышням окровавленными потому, что густо смазываются йодом – для дезинфекции, а какие-то белые жилы, которые хирурги якобы тянут из тела, на

самом деле – нитки, обычные шелковые нитки, которыми зашивают раны...

Вот так – все было просто и обыденно в том новом мире, где теперь обитала Варя Савельева. Просто – и в то же время сложно, страшно. Ведь этот мир граничил со смертью столь тесно, что раньше ей такое даже представить было невозможно. Она начала ощущать эту слитность и неразрывность жизни и смерти еще в госпитале, ну а потом, когда после окончания курсов уехала волонтеркой в действующую армию, ей вообще стало казаться, будто она – некий пограничник, постоянно находящийся в дозоре. Она неусыпно, бдительно, неустанно охраняла жизнь от смерти. Иногда это у нее даже получалось.

* * *

На Барабашевской, на мосту через Чердымовку, водовозная бочка провалилась колесом между двумя разошедшимися досками. Возчик ходил вокруг, хлопая себя по бокам и громко причмокивая губами. Старая чалая кобыла этого звука пугалась и нервно дергалась, отчего колесо приподнималось было, а потом оседало в щель еще глубже.

Ох уж эти мосты через помойные речушки Плюснинку и Чердымовку, перерезавшие город Х. между тремя «горами» – главными улицами! Сколько раз на них проваливались телеги и всевозможные повозки! Иной раз проще и скорей было перебраться по камушкам, пешком, чем брать извозчика. Марина так и делала. Да и денег у нее не было лишних. Впрочем, даже ходьба влетала в изрядную копеечку. Башмаки так и горели на ее быстрых ногах, а предметы сапожного ремесла в военные годы вздорожали непомерно. Некоторые женщины, те, что победней, уже обзавелись «стукалками», которые мастерски умели шить китайские сапожники. Вернее, не шить, а перешивать из верховок старой обуви, которые хитрым образом прикреплялись к деревянным подошвам. Однако Марина до такого не дошла: Сяо-лю придумала, где можно раздобыть материал на подшивку туфель. Теперь у Марины всегда были прочные подметки, а когда ее пациентки начинали при ней жаловаться на «сущую беду», которая настала теперь с обувью, она просто отмалчивалась.

Это никого не удивляло. Окружающие привыкли, что ссыльная фельдшерица – великая молчунья, и ничего иного от нее не ждали. Главное – дело свое пусть хорошо исполняет!

Марина старалась изо всех сил, хотя в ее распоряжении было совсем немного средств. Банки ставить она умела отменно, а также пиявки и клистир. Ну, еще горчичные обертывания делала... А главное, она каким-то образом внушала удивительное спокойствие и больным, и их родственникам: внушала этим своим сосредоточенным молчанием, румяным щекастым лицом, крупным телом, тяжелой поступью своей, оживленным блеском карих выпуклых глаз (из-за которых она когда-то заслужила прозвище «Толстый мопс» или просто «Мопся»), коротко стриженными каштановыми волосами, которые раньше были гладкими и прямыми, а от амурской воды вдруг, ни с того ни с сего, сделались пышными и кудрявыми. Внушала и черной одеждой своей – она теперь носила только черное и объясняла, что это траур по отцу, а также и по мужу, с которым так и не успела обвенчаться. Ну да, ведь она не успела обвенчаться с Андреем Туманским прежде всего потому, что тот этого не предлагал, а потом он как бы умер для нее, а Игнатий Тихонович Аверьянов, конечно, уже давным-давно был пожран злодейским раком, так что Марина не столь уж сильно и врала доверчивым своим слушателям. Тому же впечатлению способствовали большой старый медицинский саквояж с красным облупившимся крестом на боку – американский кожаный саквояж, подаренный сестрой Ковалевской, а той доставшийся от какого-то врача, убитого на тех самых «сопках Маньчжурии», о которых поется в песне. А особенно почему-то (Марина это знала и немало смеялась под незамысловатой житейской магией, которая так властна над обывательскими сердцами) успокаивала она своих пациентов большим старым черным зонтиком, который Сяо-лю нашла на какой-то помойке и с восторгом притащила хозяйке. Зонтик совершенно невероятно нравился ее пациентам, особенно маленьким. Их мамы часто просили Марину Игнатьевну раскрыть зонтик над постелью больного ребенка (да и над взрослыми больными случалось его открывать!), уверяя, что после этого определенно наступает улучшение. Марина, конечно, не отказывала делать это, хотя в душе гомерически хохотала над глупыми суевериями. Главным для нее было, что сама она всегда защищена от проливных амурских дождей, не столь частых и нудных, как в Энке, зато внезапных, буйных, порой принимавших характер если не тропического, то субтропического ливня. И на этот зонтик было очень удобно опираться, когда улицы превращались в скользкие глинистые склоны (вот как сегодня, после обильного ночного дождя), а в темноте, переходя ненадежные мосты, он помогал нащупывать дорогу. Худо-бедно освещена в Х. была только главная улица, ну а на прочих тусклые керосиновые фонари торчали лишь на перекрестках, середины же кварталов тонули во мраке.

Марина уже почти поднялась по Барабашевской, когда с Муравьево-Амурской донеслись звуки духового оркестра, игравшего похоронный марш. Она

прибавила шагу и вышла на главную улицу как раз вовремя, чтобы увидеть хвост похоронной процессии, шествующей от Соборной площади, что находилась на высоком амурском берегу, к кладбищу.

В Х. питали слабость к торжественным похоронам. Погребальная контора «Конкордия» процветала! Служба «мортусом», участником погребальной команды (название сие проистекало от французского слова «mort», что означало – смерть), считалась делом весьма почетным и хлебным. Единственной трудностью для высоких, представительных «мортусов», облаченных в рабочее время в черные длиннополые одеяния вроде ряс и фетровые черные шляпы, стянутые парчовой тесьмой, было хранить на лице торжественно-печальное выражение. Впрочем, выражение сие требовалось лишь в то время, когда «мортусы» следовали по бокам траурной колесницы, запряженной вороными (большей частью – подкрашенными) лошадьми с черными султанами на головах. При возвращении с кладбища, усевшись на том месте, где совсем недавно стоял черно-серебристый, обитый глазетом гроб, после изрядного количества водочки, выпитой на помин души раба Божьего имярек, «мортусы» имели самый развеселый вид, шляпы свои держали под мышкой и галдели почем зря.

Марина задумчиво глядела вслед процессии. Интересно бы знать, не для этого ли покойника была вырыта та могила, в которую она нынче ночью свалила «хунхуза», убитого неизвестным «капитана»?

У Марины даже мысли не возникло снова послать Сяо-лю в полицию. Объясняться с властями по такому темному делу? Ну уж нет! Ни в какого «добротного капитана», бродившего ночью по кладбищу, полицейские, конечно, не поверят. Поди докажи им, дуболомам, что не сама Марина прикончила ночного разбойника! Ведь убийство, даже для самозащиты, в глазах закона всегда убийство... Потому, покрепче замотав голову мертвеца тряпками, чтобы не оставить кровавых следов, она с помощью Сяо-лю взвалила его на спину и, поскрипывая от тяжести зубами, побрела на кладбище. Сяо-лю оставлена была замывать полы в сенях и караулить Павлика, который так ни разу и не проснулся за эту беспокойную, страшную ночь. Марина довольно быстро нашла земляную гору, означавшую, что здесь вырыта могила, и с превеликим облегчением свалила с плеч омерзительный груз. Потом вернулась домой и, прихватив заступ, вновь поспешила на кладбище, чтобы забросать могилу землей. Тучи закрыли луну, и она копала почти вслепую. Марина заканчивала свою тайную работу, когда на землю упали первые капли дождя. Она со всех ног кинулась домой, но все же немало успела промокнуть. Это ее только порадовало: дождь смое

следы, если кровь каторжника все же просочилась сквозь тряпки на землю и траву. Кинув мокрое платье на горячий печной бок, она упала на свой продавленный диван и уснула, наказав Сяо-лю разбудить, когда «большая стрелка будет вот здесь, а маленькая – вот здесь», что означало восемь утра.

При свете дня ночные смертельные страхи показались бредом, да и нынче у Марины было столько хлопот, что она только сейчас вспомнила о кошмарном происшествии – когда увидела похоронную процессию. И одновременно вспомнила о своем спасителе. Наверное, у того человека имелись веские причины избежать даже благодарности спасенной женщины. Сяо-лю описывала его странно: «Капитана в селёной пиджаке ходила, смесно говорила». В пиджаках ходит большинство мужского населения Х., ну, и в зеленых, конечно, попадают, а что касемо «смешного» разговора, тут Марина вообще ничего не понимала. Нет, ничего ей не узнать! Может статься, она не раз и не два пройдет мимо своего спасителя и даже не будет знать, что именно этому человеку обязаны жизнью и она сама, и ее ненаглядный сын.

Отчего-то тоска взяла Марину от такой мысли, и она с каким-то болезненным вниманием принялась вглядываться в лица прохожих мужчин, надеясь, что загадочное чувство что-то шепнет ей, подскажет... Однако вместо шепота услышала восклицание:

– Здравствуйте, Мариночка Игнатьевна!

Голос был девичий, звонкий, радостный – и хорошо знакомый. Принадлежал он Грушеньке Васильевой – дочери Марининых, можно сказать, благодетелей. Василий Васильевич был старинным другом Константина Анатольевича Русанова, двоюродного дядюшки Марины, и, конечно, тот написал другу, когда узнал, что местом ссылки крамольной племяннице определен город Х. Васильевы оказались людьми добросердечными, тороватыми, они предлагали Марине поселиться у них и готовы были обрушить на нее дождь благодеяний, однако, наткнувшись на ее почти воинствующую замкнутость, принуждены были несколько пригасить пыл своего радушия. Василий Васильевич терялся в догадках, отчего он сам и его бесхитростные чада и домочадцы (имелись в виду супруга Настасья Степановна и дочь Грушенька) столь немылы Марине, но на самом-то деле корень зла крылся не в Васильевых, а в самих Русановых. Вернее, в дочери Константина Анатольевича, Сашеньке, непонятным, но, несомненно, каким-то паскудным образом заполучившей то, что раньше составляло главное достоинство и привлекательность Марины Аверьяновой в глазах людей, – ее

деньги... точнее, деньги ее отца.

Как бы ни относилась Марина к Васильевым вообще, смотреть на Грушеньку ей всегда было приятно. Как, впрочем, и всем прочим людям, особенно мужского пола.

Грушенька Васильева была одной из богатейших невест и первых красавиц Х. В ее лице удивительным образом сочеталась ясная чистота русских красок: зеленовато-серые глаза, ржанные волосы, сияющая бело-розовая кожа – и несколько восточная точеность черт: миндалевидный разрез больших глаз, высокий лоб, аскетически впалые, хотя и румяные, щеки, властный разлет бровей и необыкновенно черные, круто загнутые ресницы (ходили слухи, что среди ее предков был кавказский князь, некогда сосланный в Приамурье за убийство, совершенное из ревности). Грушенька самозабвенно кружила молодым людям головы, чуть не каждый день фланируя по Муравьево-Амурской улице и щеголяя роскошью платьев, которые выписывались из самого Парижа даже и теперь, когда шла война, – вся-то разница, что стоили они в два-три раза дороже, чем в довоенную пору, потому что доставлялись морем, через Америку или Японию.

Впрочем, надо сказать, что во время войны город Х. не слишком-то пострадал от недостатка продовольствия или товаров. Цены, конечно, взлетели, что да, то да, однако о карточках, ограничивших продажу продуктов, или бумажных бонах, заменивших правительственные ассигнации «в России», тут и слухом не слыхали. Своя пшеница и рожь в изобилии, свое мясо, о рыбе и говорить нечего: нескитано и морской и речной, на Нижнем базаре по амурскому берегу навалены горы красной кетовой икры, которую местное население есть брезгует, предпочитая черную калужью (чего только в Амуре-батюшке не ловится, в том числе и калуга, родная сестра осетра!), корейцы да китайцы выращивают огромные урожаи овощей и фруктов... Молока, правда, зимой мало было – на базаре фунтовый кружок мороженого молока аж по пяти копеек шел! – но ничего, выживали как-то. Единственное, нехватка чего ощущалась в Приамурском крае, это рабочие руки, которых с войной еще пуще поубавилось. Однако вскоре именно благодаря войне их вновь же и прибавилось, потому что в сам Х., а также в Никольск-Уссурийск, Спасское, Раздольное, Шкотово и другие села и города Приамурья и Приморья прибыло чуть ли не двадцать пять тысяч австро-венгерских и германских, а затем и турецких военнопленных, которые были немедленно затребованы на главные стройки и предприятия края, а также по частным домам, где требовалась дешевая рабочая сила. Ведь это в основном

были нижние чины, с которыми не слишком церемонились, и отправляли их то на сельхозработы, то на лесоповал, то на прокладку шоссейных дорог в тайге, то на строительство детского приюта по улице Инженерной, неподалеку от Барановской. К офицерам относились вполне мягко и даже позволяли некоторым из них работать по прежней специальности. Так, директор местного краеведческого музея выхлопотал разрешение двум таксидермистам трудиться в музее, врачи получили возможность устроиться в больницы или частные кабинеты, а несколько музыкантов даже организовали оркестр, который улаждал слух жителей города Х. очень недурной музыкой.

Играли эти музыканты во втором этаже большого доходного дома купца Архипова, где открыто было кафе «Чашка чая». Доходный дом, выстроенный год тому назад в изящном стиле модерн и оснащенный всевозможными новинками цивилизации, в том числе электричеством, центральным отоплением и даже квартирными ватерклозетами (!), находился между улицами Барабашевской, на углу которой сейчас стояла Марина, и Хабаровской. Оркестр начинал играть в послеобеденное время и играл до шести часов, после чего пленным музыкантам предписано было возвращаться в их лагерь на Николо-Александровской пристани, в пятнадцати верстах от города, но на этот краткий промежуток времени чуть не все местные красотки, как дамы, так и девицы, слетались в «Чашку чая», словно там медом было намазано!

Нет никаких сомнений, что Грушенька и бывшая при ней ее подруга тоже спешили сейчас туда.

И только Марина об этом подумала, как Грушенька воскликнула своим ласковым, мягким голосом:

– Мариночка Игнатьевна, я вас так давно не видела, я по вам так соскучилась! Давайте в «Чашку чая» зайдем, музыку послушаем и пирожных поедим, а? Только не говорите, Христа ради, что вы ужасно спешите и страшно заняты!

* * *

Шурка теперь мог думать только о том, что вскоре матерьяльчик под названием «Вильгельмов ждут» за подписью «Александр Русанов» (пожалуй, все же лучше – «А. Русанов», что-то не видал он полных имен в «Энском листке», но был согласен и просто на «А.») появится на газетных страницах. Он с таким

нетерпением рвал из рук отца каждый свежий номер газеты, что Константин Анатольевич даже заподозрил неладное:

– Ты что, ищешь какие-то зашифрованные заметки?

От изумления Шурка только глазами хлопнул.

– Ну как же! – весело проговорил Константин Анатольевич. – Разве ты не помнишь – у Конан Дойля в каком-то рассказе муж и жена, разлученные шайкой преступников, сносились через отдел объявлений «Морнинг стар» или «Таймс», давая друг другу знать о своих намерениях. Эх, забыл я, как этот рассказ назывался! Хороший рассказ, надо бы взять в библиотеке книжку да перечитать...

– «Алое кольцо» он назывался, – подсказал Шурка, заглядывая через плечо отца в развернутый «Листок».

– Ну вот, – продолжал Константин Анатольевич, – в объявлениях столько всякого барахла печатается, что вполне можно и зашифрованные сообщения помещать. И никто ничего не поймет, кроме того, кому оно адресовано. Ну вот погляди, чем не шифровка?!

Он ткнул пальцем в следующие строки: «КИНЕМАТ. УГЛИ ХРОМО-НОРИС-КОНРАДИ! Разные размеры от 25 руб. сотня. Части и принадлежности для аппаратов Пате. Петроград, Знаменская, 42, кв. 1. Техническая контора В.Д. Аксенова».

– Может, ты знаешь, что такое «кинемат. угли хромо-норис-конради»? – спросил Русанов сына с комическим ужасом. – За этим вполне может крыться что-нибудь вроде: «Динамит заложен, взрыв состоится в условленное время!»

– Да нет, пап, я думаю, ни про какой динамит тут речи нет. Просто имеются в виду какие-нибудь штуковины, нужные для работы аппаратов, которые в электротئاتрах проецируют на экран фильмы.

– Скажите, какой умный юноша и какой идиот его престарелый папаша! – саркастически воскликнул отец.

Шурка рассеянно хохотнул, скользя взглядом по заголовкам статей.

Так... «Случайные заметки», «Граф Лазаревский – многоженец», «Работница» Найденова – премьера Николаевского театра» (понятно, почему отец читает эту рецензию, ведь в «Работнице» главную роль играет его любовница Клара Черкизова – два года назад пятнадцатилетний Шурка и сам до одури был в нее влюблен, даже, помнится, предложение руки и сердца делал, а потом все это как-то прошло, будто и не было), «Кому нужны такие поставщики?», «Вести из Нижегородских уездов», «Лотерея-аллегри Татьянинского комитета»... А это что? О, быть того не может! «Вильгельмов ждут!»

«ВИЛЬГЕЛЬМОВ ЖДУТ!»

Вот оно! Шурка мигом перестал воспринимать весь окружающий мир, видел только строки, набранные петитом и втиснутые в узкий столбец, отчего небольшая, скажем прямо, заметка казалась необычайно длинной.

«Люди самых разнообразных профессий и состояний спешат по одному направлению – к Острожной площади. Торопятся, лица возбужденные, некоторые, более нетерпеливые, переходят на бег.

– Что такое, куда народ бежит? Пожар, что ли?

– Винный склад опять загорелся, – бросает на бегу гимназист.

– Что врешь, пострел? Никакого пожара нет, а пленных ведут в Острог Варваркой, значит...»

Как здорово! Как здорово!!! Напечатано слово в слово, что писал Шурка. Напрасно Перо стращал «зверем» Таракановым – ничего, ну ничегошеньки не поправлено! И заголовок им, Шуркой, придуманный! Ай да Шурка! Ай да Александр Русанов, ай да молодец!

– Пап! – торжествующе воскликнул он – и осекся.

Константин Анатольевич, внимательно изучавший объявление под заголовком «**НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО «SALO – ПИЧИЛИН» ПРОТИВ ГОНОРЕИ (ТРИППЕРА) ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО И РАДИКАЛЬНО!**», – поднял на сына рассеянные глаза. Не то чтобы он обнаружил у себя какие-то тревожные симптомы, но ведь эта чаша, по отзывам знакомых, никого не минует, ни одного мужчину. Если бы он спал, к примеру, с одной Кларой, еще можно было помышлять о какой-то безопасности (да и то коли сделаться сущим идеалистом и допустить, что у Клары нет другого любовника, кроме присяжного поверенного Русанова, что едва ли соответствует действительности), а то ведь случаются у него время от времени приватные и секретные визиты на Рождественскую улицу, где, близ Строгановской церкви, стоит в полугоре уютный домик... премиленький, значит, такой домик терпимости, называемый «Магнолия»... Сейчас, в военное время, все пошло вкривь и вкось, не только поставки продуктов задерживаются из-за безалаберности на железных дорогах, но и медицинские осмотры девиц задерживаются из-за почти полного отсутствия врачей-гинекологов и необходимой фармации. Поэтому-то и уставился Константин Анатольевич на интересненькое объявление о «Salo – Пичилине», который, «по отзывам врачей, считается радикальным средством, одинаково хорошо действует в острых и хронических случаях и в короткое время устраняет самые упорные истечения». Хотя, чтобы быть совсем уж благонадежным, лучше обратить внимание на соседнее объявление, при котором изображен фатоватый молодой человек, с предупреждающей улыбкой поднявший палец: «**ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ** целесообразно брать на единственном специальном складе! Отделение Парижской фирмы Ж. Руссель. Москва, Столешников пер., 5. Полный иллюстрированный каталог по требованию, бесплатно». Оные изделия – залог полной и окончательной безопасности при половом сношении... а также полного и окончательного отсутствия мало-малейшего удовольствия. И все же за ними будущее, Русанов не сомневался в этом!

Кстати, его вроде бы окликал Шурка?

– Ты мне что-то хотел сказать?

– Нет, ничего.

Сын перебирал учебники в своем ранце. Правильно, хороший мальчик, пусть идет и делает уроки! И Русанов снова уткнулся в «Листок».

А «хороший мальчик» между тем меньше всего думал об уроках. Шурка из всех сил старался сдержать слезы, которые чуть не хлынули из глаз, когда он прочел подпись под заметкой «Вильгельмов ждут!». Само собой разумеется, там должно было значиться – Александр Русанов. А вместо того значилось – Перо!

Небось у кого угодно слезы хлынут от такого наглого обмана!

Конечно, первым помыслом Шурки было сорваться и бежать в редакцию – отстаивать свои права. Найти этого гнусного человека – и... И что делать дальше? Может, морду набить?

Ага, чтобы потом увидеть анонс в том же «Энском листке»: «Гимназист выпускного класса избивает газетного репортера!» Они, репортеры, народ скандальный, небось до суда дело доведут. Хорошенькое дельце будет для присяжного поверенного Русанова – защищать сыночка в суде! Или мировым судьей удастся обойтись?..

Но ведь можно не драться, а просто поговорить...

И вот однажды Шурка, скроив самое наглое выражение и тщательно, чуть ли не руками, удерживая его на физиономии, вошел в редакционный подъезд на Большой Покровке.

Сразу за входной дверью находился узенький, тесный коридорчик. Сбоку – крошечная швейцарская, половину которой занимал большой-пребольшой стол, подозрительно смахивающий на бильярдный, но застеленный скатертью. На нем стоял самовар, накрытый толстым клетчатым платком. Наверное, здесь готовят чай господам репортерам, а потом разносят. Может быть, сейчас швейцар понес чаек самому Перу!

Поскольку сахарницы, полной рафинаду, не было видно, Шурка сделал вывод, что господа репортеры пьют чай, как и все жители Энска: не вприкуску, как до войны, а в очень скупую накладку, а то и вприглядку.

Шурка сделал еще несколько шагов и очутился меж четырех дверей, находившихся по обеим сторонам коридорчика и выкрашенных белой масляной

краской. На косяках и около ручек (самых простых, железных) имели место быть лиловые бледные пятна, напоминающие отпечатки чьих-то пальцев. Наверное, руки у репортеров часто были от усердия перепачканы чернилами, ну и часть сего «усердия» перешла на двери.

Одна дверь была испачкана сильнее прочих, и на ней Шурка увидел табличку: «Редакция». Рядом помещалась дверь с непонятной надписью «Секретариат и корректоры». Напротив – «Контора». И в конце коридора находился «Г-н редактор». Засунутая за табличку визитная карточка удостоверяла, что г-на редактора зовут Иван Никодимович Тараканов.

Внезапно дверь с надписью «Корректоры» отворилась, и в коридор вышла маленькая барышня в пенсне на хорошеньком курносеньком носике.

– Добрый день, мадемуазель, – галантно сказал Шурка.

– Добрый день, сударь, – звонко ответила барышня и сняла пенсне.

Без него носик ее оказался еще лучше. К тому же обнаружили прелестные карие глазки, напоминающие изюминки в подрумяненной сдобной булочке. На булочку похожи были ее тугие щечки. И даже, кажется, пахло от барышни ванилью. А вдобавок кофточка на ней была розовая, как помадка. Вообще она была вся такая аппетитненькая... так бы и откусил кусочек. Или хотя бы лизнул!

Шурка, у которого особа женского пола впервые в жизни вызвала такое гастрономическое вожделение, смутился.

– Вы кого-то ищете? – спросила барышня, заметив, как он покраснел. Голос у нее оказался очень приятный, чуточку пришепетывающий, правда, но все равно – очень нежный и мягкий. Тоже сдобный! – Если с объявлением каким-нибудь, то вам направо. – Она указала на дверь с надписью «Контора». – А что у вас? Собака пропала? Или кот? Или ищете места? Или объявление, простите, об усопшем желаете подать? – В знак сочувствия барышня даже несколько понизила свой звонкий голосок. – Нынче у нас объявления подорожали, знаете ли. Если желаете перед текстом поставить – это будет стоить тридцать копеек за строку петита, после текста – пятнадцать копеек. Объявления месячные, сезонные, годовые мы принимаем по особому соглашению.

Казалось бы, ничего не было особенного в том, чтобы человек пришел в редакцию дать объявление, однако Шурка отчего-то смертельно оскорбился.

– Нет, я не для объявления пришел, я ищу господина Перо, – сказал он высокомерно.

– Репортеры вон там сидят, – кивнула барышня на дверь с надписью «Редакция». – А, да вы, верно, корреспондент? Матерьяльчик для заметки принесли?

Шурку словно молнией пронзило от этих слов! И потом, позже, ему казалось, что именно в то мгновение – ни раньше, ни позже – он послал в небеса страстную мольбу: «Господи, Иисусе Христе, Матушка Пресвятая Богородица, святые угодники, сделайте так, чтобы я стал работать в газете! Сделайте меня настоящим репортером!»

– Да я... – задыхаясь, выговорил он, – собственно, я уже касаясь напечатанного пришел выяснить.

– Ну, ежели про гонорар спросить, то тогда вам к господину редактору, – указала барышня на дверь с соответствующей табличкой и небрежно засунутой под нее визитной карточкой: «Иван Никодимович Тараканов».

Шурка заробел. Этого Тараканова Перо называл сущим зверем...

– А вы не скажете, господин Перо сейчас присутствует в редакции? – робко осведомился он у любезной барышни.

– Конечно, которое-либо из них всегда присутствует, – ответила барышня, и Шурка уставился на нее озадаченно:

– А разве оно... в смысле, разве он, господин Перо, не один носит такой псевдоним?

– Ах, ну что вы! – хохотнула барышня. – Конечно, не один. Перо – это общий редакционный псевдоним, под ним у нас печатаются все фельетоны или забавные заметки. На самом деле господа репортеры только матерьяльчики от

корреспондентов собирают. Вы, наверное, когда свой матерьяльчик прочитали в газете, удивились. Там все переписано было, да? Это потому, что главный Перо у нас – сам Иван Никодимович, – она кивнула на редакторскую дверь. – Вот у кого стиль блестящий, вот кто истинный журналист! – воскликнула она с восторгом. – Он, правда, от матерьяльчиков репортерских камня на камне не оставляет, но зато...

– За что?!

Барышня замерла с открытым розовым ротиком, уставившись на внезапно распахнувшуюся редакторскую дверь. На пороге возник высокий худой человек с большими, закрученными вверх рыжими усами, до такой степени похожий на таракана-прусака, что просто диву можно было даваться точности его фамилии. А также приходилось удивляться, что его до сих пор еще не арестовали как немецкого шпиона. Ведь такие усы назывались «а la император Вильгельм» или просто «вильгельмовские», и все здравомыслящие люди, прежде имевшие на своих лицах подобное украшение, с началом войны от него избавились.

– За что?! – повторил усатый. – За что мне эти мучения? Почему, как только Станислава Станиславовна выходит в коридор, начинается писк и визг с какими-то мальчишками?!

Первым чувством Шурки было удивление тем, что настолько маленькая и нежная барышня носит такое громоздкое и звеняще-свистящее сталью имя и отчество, которые куда больше пристали бы огромному воинственному польскому рыцарю в сверкающих доспехах. Вторым чувством было восхищение тем, с какой лихостью справился Тараканов с этим самым именем и отчеством. А третьим и самым сильным – обида. Вернее, возмущение!

– Я не мальчишка! – крикнул он. – Я корреспондент!

– Корреспондент, мать родная! – хмыкнул Тараканов, несколько смягчая выражение своего худого лица. – Скажите на милость! Ну ладно, господин корреспондент, что вам угодно? Расчет по матерьяльчику получить? Тогда обращайтесь к тому репортеру, для которого писали, пусть он мне раскладку представит для бухгалтерской ведомости.

– Да ведь я как раз и спрашивал у барышни... – Шурка на мгновение помедлил, соображая, удастся ли ему назвать ее имя и отчество с первой попытки, но оценил свои силы трезво и даже пытаться не стал, – спрашивал, где мне найти Перо.

– Которое из них? – привычно спросил редактор, и Шурка, уже подготовленный к такому вопросу, пожал плечами:

– Да не знаю я, как того господина зовут. Он ростом примерно как я, – таким образом Шурка избегнул эпитета «невысокий», – лысоватый, в шинельке потертой.

– Матка Боска! – громко сказала вдруг Станислава Станиславовна, подтвердив таким образом свое польское происхождение, и тут же прикрыла ладонью свой маленький розовый ротик.

Тараканов задумчиво прищурился.

– Ага-а, – протянул он, – так вы, стало быть, Кандыбина ищите? Коли так, идите-ка сюда, молодой человек! – И, схватив Шурку за рукав тужурки, редактор бесцеремонно втащил его в свой кабинет.

Здесь перед Шуркой оказался невысокий человек, лет, пожалуй, двадцати восьми, не слишком-то взрачный на вид, усталый, одетый в потертую одежонку. Однако взгляд его обладал странной способностью: он как бы вцеплялся в глаза собеседника, и тот ощущал, как не больно-то приглядный незнакомец овладевает и умом, и душой его. У человека, встретившегося с ним взглядом, возникало почти неодолимое желание покаяться во всех грехах – не токмо своих, но и сообщить незнакомцу о прегрешениях ближнего своего... А между тем незнакомец был не священник, как можно было предположить, а агент сыскного отделения Охтин. Шурка видел его в мае 14-го года, когда шло судебное разбирательство по делу Марины Аверьяновой, замешанной в сопротивлении властям, участии в боевой эсеровской организации, участии в подготовке покушения на начальника сыскной полиции Смольникова и еще невесть в чем. Шурку тоже вызывали в полицию, сняли показания об исчезнувшем товарище Павле, о пугающем боевике Викторе, который оказался известным полиции убийцей и грабителем по кличке Мурзик, – да и оставили в покое. Конечно, страху он тогда натерпелся... страху, что запросто может

составить компанию кузине Мопсе на ее пути в каторжанские приамурские края. И встреча с Охтиным до такой степени ему о тех страхах напомнила, что у него даже ноги подкосились, его даже шатнуло!

– Да вы садитесь, господин Русанов, – произнес приметливый Охтин. – Садитесь, в ногах правды нет.

– Вы знакомы? – удивился Тараканов.

– Некоторым образом, – ответил Охтин. – Вот уж не думал снова с вами встретиться, господин Русанов. Предполагалось, вы теперь будете вести себя тише воды, ниже травы, ни во что мешаться не станете, а вы что же?

– А что я? – с ужасом спросил Шурка, падая на ближайший стул и не понимая, то ли потертый венский стул раскачивается по причине шаткости, то ли вся вселенная дрожит вместе с ним от страха.

– А вы связались с темной, очень темной личностью по фамилии Кандыбин... Рассказывайте-ка, откуда вы его знаете и каким образом сотрудничали с ним! – грозно сказал Охтин, устремляя на Шурку повелительный взгляд своих необыкновенных глаз. И Шурка мигом перестал собой владеть, открыл рот и, словно подопытный на сеансах гипноза, выложил подробнейшим образом историю своего знакомства с загадочным Кандыбиным – с той минуты, как они встретились на Варварке, и по сей день, когда Шурка решился прийти в редакцию «Листка» и требовать справедливости, в чем бы она ни выражалась: в словесных извинениях или в звонкой монете.

– Что?! – воскликнул Тараканов, едва он закончил рассказ. – Говорите, «Вильгельмов ждут!» – ваше творчество? Да нет, не может быть! Хотя...

– Что? – спросил Охтин, недоверчиво косясь на Шурку.

– Видите ли, Григорий Алексеевич, – торопливо заговорил Тараканов, – Кандыбин был очень плохой репортер. Я всегда мечтал его уволить. Один раз, с месяц тому назад, уже совсем было собрался и даже вызвал его в свой кабинет, вот сюда, – он для наглядности несколько раз топнул по полу ногой, обутой в шевровый ботинок, – и объявил о своем решении. Так он, вообразите, рухнул передо мной на колени...

– И вы тогда проявили милосердие, – догадливо сказал Охтин.

– Ну да, разумеется, я его проявил, – согласился Тараканов, повинно опуская голову, и даже кончики его рыжих встопорщенных усов покаянно повисли. – Я его проявил и потом похвалил себя за это, потому что Кандыбин вдруг весьма исправился. Сделал интересный матерьяльчик, в котором я не тронул ни строки. Это была именно заметка «Вильгельмов ждут!». Смешная, простая и очень трогательная. Она была написана почерком Кандыбина – причем без единой грамматической ошибки, хотя обычно он писал ужасно безграмотно. Я почуял что-то неладное, но подумал: даже если он нашел себе литографчика, то что ж в том плохого, лишь бы на пользу газете! Нет, серьезно, молодой человек, матерьяльчик, значит, вы писали? Хвалю, весьма хвалю! Но... чем докажете?

– Как это? – растерялся Шурка.

– Да так. Чем докажете, что написали его именно вы?

– Вот именно, чем? – поддакнул Охтин.

– Да не буду я ничего доказывать! – возмутился Шурка. – С чего вдруг? Нужно просто позвать господина Кандыбина да прямо спросить у него. Он как меня увидит, сразу растеряется и не сможет скрыть, что...

– Увы, не растеряется он, вас увидев, господин Русанов, – досадливо перебил Охтин. – Да и вообще он вас не увидит. Прежде всего потому, что мертвые ничего зреть не могут, а Кандыбин, уввы, мертв. Он убит.

* * *

– Конечно, поначалу-то полегче было, в четырнадцатом году, в Восточной Пруссии. Это мы сейчас в них уперлись, а спервоначала-то входили, как горячий нож в масло! Эх, долго мы из-за этой деревни сражались! Но она того стоила. Уж очень удобные в ней были позиции. Но как стало рассветать, австриец так и попер, так и попер тесными густыми колоннами. И тогда мы открыли с трех разных сторон огонь орудийный и ружейный. Ну, конечно, они не могли против нас продержаться. Через каких-то десять-пятнадцать минут неприятель,

который был на фронте, поднял белый флаг. «Сдается!» – закричали мы и стали подходить к дивизии. Но не тут-то было. Фронт сдается, а с флангов снова раздались выстрелы. Но мы скоро заставили замолчать и фланги. Вся дивизия сдалась. Теперь и в Москве о нашем полку говорят!

– Ну уж и в Москве... Нужны вы там кому-то, в Москве-то...

– А как же! Небось нужны!

– Да много ты знаешь!

– Это ты много знаешь!

Саша тихонько усмехнулась и устроилась поудобнее у своего столика. Она скатывала бинты в маленькие рулончики, которые потом удобнее использовать при перевязках, чем большие свитки. Обычное занятие отдыхающей сестры милосердия – скатывать бинты.

За эти два года Саша столько их скатала! Даже когда Олечка была еще совсем крошечная и Саша кормила ее грудью, в лазарет не ходила, ей приносили домой в корзинке вороха марлевых полосок, и она катала их в свободные минуты.

Точно так же, как и о бинтах, она и о поведении раненых все знает. Это только кажется, что они наскакивают друг на друга, точно петухи, которые вот-вот в драку ввяжутся. На самом деле задираются просто от скуки. И сейчас опять вернутся к своим рассказам, к своим воспоминаниям о фронте.

Разговоры были одни и те же уже долгое время. Порою говорили, даже не слушая друг друга. Обновлялись разговоры, только когда поступали новые раненые. Завтра ожидали прибытия поезда. А сейчас пока снова и снова – про то же, рассказанное не один раз, не два и не три. И каждому кажется, что имеет значение только то, что случилось с ним, именно с ним, других они даже не слушают:

– Скоро пришли в небольшой городок, названия не помню, – говорил один раненый. – Стали осматривать постройки и дома. Мирных жителей ни одного человека – все куда-то ушли. Подошли к сараям. Стоят два больших сарая

запертыми. Стали смотреть, что в них находится, и увидели там много свиней. Вероятно, германцы заперли их от русских. Доложили об этом ротному командиру и сказали, что свиньи могут там задохнуться. Разрешили взломать двери сараев, и выпустили их. Может статься, конечно, они разбегутся, но в том городке и так свиней было много. Еще там сырные заводы, спиртные заводы, много быков, конный большой завод, несколько лошадей мы взяли для полка...

– Лежал я около получаса, – говорил другой. – Услышал стрельбу. Это была наша артиллерия. И тут явился наш санитар и сделал перевязку. Я говорю ему – зачем он пришел, сражение продолжается, пули жужжат, его могут убить. А он мне: «Бог о нас позаботится. Мы должны спасать раненых». Прошло еще немного времени. Санитар привел с собой другого, и меня понесли в подвижной полевой госпиталь...

– Хороший командир у нас! – рассказывал третий. – С таким и душу отдать можно! Сам ничего не боится и нас учит этому. Все время впереди роты, командует, бегают, отдает распоряжения. Одно желаю, подольше бы остался он в живых. Боюсь только, что неприятельская пуля сразит его: всегда на виду он держится. Не боится никакой работы. Скомандует: «Копай окопы!» – и сам копает, не только солдаты. Его помощник, совсем молодой офицер, тоже очень храбрый и смелый человек...

Саша отложила марлевые скатки, прошла между кроватями. Говорившие при ее приближении умолкли. Один из них – с ногой, подвешенной к вытяжке, тот самый, которого подобрал самоотверженный санитар, посмотрел конфузливо:

– Ой, сестрица... расшумелись мы тут, да?

– Совсем нет, говорите на здоровье, голубчик Кашинцев. Я только хотела спросить – ваш ротный, он... Фамилия его как, помните?

– Конечно, помню, – закивал раненый. – Смешная у него фамилия. Штабс-капитан Батый.

– Татарин, что ли? – желчно хмыкнул тот, который рассказывал про запертых свиней.

Его-то фамилия была самая что ни на есть русская – Егоров. Он был ранен в обе руки, кости перебиты, только-только начали срастаться. Егорову тяжело приходилось, санитаркам с ним – еще тяжелее. Мужчина совершенно беспомощный, даже по нужде не сходить самому... Кажется, ладить с ним могла одна только Тамара Салтыкова. Она – может быть, из-за странного смещения сознания, которое возникло после болезни, – была совершенно лишена девичьей стыдливости и к естественным отправлениям мужчин относилась настолько просто, что солдаты в ее присутствии вообще никакого стыда за свою беспомощность не испытывали. Но с другими санитарками, сестрами, ранеными, даже с врачами Егоров бывал порою изрядно хамоват.

– Сам ты татарин, – обиделся Кашинцев. – Небось побольше русского в нем, чем в тебе. Глаза голубые, как небушко.

– Много ты их знаешь, татарей, – хохотнул третий раненый, Сивков, бывший родом из Казани. Можно сказать, местный – ведь от Энска до Казани на поезде, считай, ночь да еще чуточка. К нему довольно часто наезжала родня. – У них-то как раз глаза синие, а волосы – черные.

– Не, наш ротный белобрысый. Природный русак! Скажите им, сестрица, Батый – никакая не татарская фамилия! – взмолился Кашинцев.

– Конечно, – сказала Саша, отходя от них.

Понятно, что про татаро-монгольское нашествие и хана Батыя этот добрый человек и слыхом не слыхивал. Ну и зачем смущать его лишним знанием?

Поворачивая между тесно составленными кроватями, она невольно обернулась – и заметила, что раненые между собой переглянулись.

– Не горюй, сестрица! – преувеличенно бодрым голосом заговорил Кашинцев. – Небось и твой живой-здоровый. Небось иначе сообщили бы. Он на каком фронте, на австрийском или на германском?

Саша передернула плечами: не знаю, мол.

– Австрийцы похлипче будут, чем германцы, – задумчиво сказал Кашинцев. – С ними сражаться легче.

– А мы хорошо гнали и германцев! – вмешался Егоров. – Наш полк забрал их около тысячи человек в плен и тридцать шесть орудий. Мы бы их давно выгнали из окопов, если бы не светлые лунные ночи. Никак нельзя было их окружить ночью на ура – светло, все видят. Наш полк из-за этой луны лишних двое суток простоял у окопов.

Не остался в стороне от разговора и Сивков:

– Нет, все же с австрийцами управляться легче. Они воевать не шибко любят. Однажды наша рота стала на отдых в деревушке около австрийской границы. И вдруг к командиру пришли два австрийских солдата. Умоляли дать двух-трех наших солдат в сопровождение, тогда они приведут и сдадут в плен целый разведочный отряд из австрийской армии. «Мы семь дней ничего не ели, умираем с голода», – говорили австрийцы. «Зачем вам русские солдаты? – спросил наш командир. – Вы можете прийти в плен и без наших провожатых». Австрийцы и говорят: «Если мы пойдем без русских солдат, то ваши нас расстреляют». Командир дал им провожатых, и часа через два в самом деле пришел разведочный отряд австрийцев, который и сдался в плен. Наконец-то их накормили!

И все трое с торжествующим видом посмотрели на Сашу, как будто их рассказы о воинской слабости австрийцев должны были непременно вселить в нее бодрость, силу духа и уверенность, что муж ее жив. А коли нет от него вестей, то ведь это полная чепуха. На такое совершенно не стоит обращать внимание! Они настолько преисполнились сочувствия, что даже готовы были уверять, будто сами ни разу не писали своим домашним.

Ну да, весь лазарет, весь город да и, кажется, весь мир каким-то образом проведал о том, что муж сестры милосердия Аксаковой находится в действующей армии, но ничего ей не пишет вот уже два года. Известно, конечно, всем и то, что женился Аксаков на ней только из-за баснословного приданого, ну а заполучив его в свое фактическое распоряжение (что с того, что война, когда-нибудь же она кончится, а проценты на капитале к тому времени только вырастут!), даже знать о себе не дает, хотя, конечно, не ранен, не попал в плен и, само собой, не убит: ведь извещений об этих событиях не поступало.

То, что Саша иногда все же получает письма от Дмитрия, знала только она сама да его мать, Маргарита Владимировна Аксакова, богородская помещица, через соседку которой и велась секретная переписка.

Секретность она бесила Сашу. Какие-то шпионы, Господи прости! Она злилась на мужа – и все же жадно ловила всякие слухи, которые могли принести сведения о нем. Нет, не только потому, что нужно было «не выходить из образа», как сказала бы Клара Черкизова или кто-то другой из актерской братии. Саше не приходилось притворяться, изображая тревогу. Она в самом деле тревожилась, сходила с ума, она боялась за жизнь Дмитрия, за жизнь Оленьки, за свою семью, потому что чувствовала: Дмитрий не нагоняет страхов, не лжет, из его прошлого в самом деле тянется в день нынешний некая тень, смертельно опасная тень.

Самым странным и пугающим казалось то, что об этой тени каким-то образом известно тетушке Лидии Николаевне. Именно поэтому ее приходилось весьма остерегаться.

Почему? О том знал только Дмитрий, и Саша прекрасно понимала, что спрашивать бессмысленно – он не ответит! Однако она очень хорошо помнила тот вечер в мае четырнадцатого года, когда Дмитрий явился делать ей предложение, а отец нипочем не хотел давать согласие, чуть ли не пинками жениха выпроваживал. И вдруг появилась Лидия Николаевна. Она уединилась с отцом в его кабинете, а спустя четверть часа Константин Анатольевич вышел оттуда словно полумертвый и сказал, что дает свое благословение. Сашенька тогда попыталась брыкаться, все-таки она любила другого, всегда любила... любит и теперь... но ее и слушать не стали. Отец с тем же пылом, с каким раньше оттаскивал от нее Дмитрия, буквально толкнул их в объятия друг другу, словно бы мечтал лишь об одном: чтобы венчание свершилось поскорей. Обидеться на отца, замкнуться Сашеньке не давало только выражение горькой тоски, появившееся в его глазах. О причинах этой тоски наверняка отлично знала тетушка Лидия Николаевна Шатилова.

Странно, что она вообще знала очень много о других людях! Ведь именно она принесла весть о том, что Игнатий Тихонович Аверьянов намерен отдать свой капитал двоюродным племянникам...

Казалось бы, нужно быть благодарной тете Лидии. Однако же со своей вновь обретенной родственницей Русановы после начала войны и возвращения Сашеньки под родимый кров почти не встречались, даже Олимпиада Николаевна

сторонилась сестры. Все-таки тетя Оля жизнь отдала Константину Анатольевичу и его детям, заменила им мать. Что там Лидия, которая столько лет невесть где шлялась, а потом вдруг вернулась в Энск с мужем и двумя детьми! Чужая она – всегда была чужая, такой и осталась.

Да и дети Шатиловых, Олег и Таня, приехавшие в Энск полтора года назад (до этого они жили то в Петрограде, у родственников отца, то в Москве, у Зинаиды Рейнбот, вдовы знаменитого Саввы Морозова и близкой подруги Лидии Николаевны), так и не стали Русановым близкими, хотя отношения были вроде дружеские, родственные. Олег теперь учился в Варшавском политехническом институте, который был эвакуирован в Энск, а Таня, едва приехав, устроилась в лазарет, где уже работала ее кузина Саша Аксакова.

Между ними была разница в год, но Таня, младшая, выглядела куда крепче, ярче, сильнее и телом, и духом, чем бледная, скромная Саша. Таня была смешлива, говорлива, не лезла за словом в карман и очень забавно рассказывала о том, что Александр Рейнбот в припадке оголтелого патриотизма (а вернее, моды!) решил с наступлением войны сменить фамилию и звался теперь по матери – Резвой. Однако начальник санитарной части империи принц Александр Петрович Ольденбургский, в ведомстве которого Резвой подвизался, был весьма недоволен его деятельностью и порою, разъярясь, кричал: «Подайте мне сюда этого урожденного Рейнбота!»

Что и говорить, Таня была прелесть, однако Саша ничего не могла с собой поделать – даже хохоча над ее шутками, чувствовала себя настороженно. Особенно когда кузина начинала расспрашивать о Дмитриии...

* * *

Конечно, если честно, Марине следовало сказать именно это: ужасно спешу, мол, и страшно занята, ни минуточки свободной нету. На такой ответ так и наталкивал перехваченный ею взгляд Грушенькиной подружки. Светлоглазая и рыжеволосая девушка смотрела на Марину совершенно уничтожающе и даже с неким брезгливым недоумением, словно на дикое существо, явившееся из глубины таежных дебрей. А впрочем, пожалуй, даже появление на улице Муравьева-Амурского облаченной в халат из ровдуги, засаленной и никогда в жизни не мывшейся гильячки или гольдячки вызвало бы у Грушенькиной подружки меньший приступ отвращения, чем встреча с высокой, полной

двадцатисемилетней женщиной с коротко остриженными, пышными, рано начавшими сесть волосами, одетой в какую-то бесформенную черную хламиду вместо кофты и такую же бесформенную юбку, имевшей на ногах стоптанные и растоптанные туфли и щеголявшей без чулок – наверняка по причине отсутствия этих самых чулок в ее обиходе. Вообще-то нитяные, штопанные, грубые чулки у Марины были, но она их берегла. Вернее, делала вид, будто бережет... Теперь женские платья чуть не с каждым днем становились все короче, что заставило дам и чулочных фабрикантов обратить внимание на прелестные ножки, в моду вошли прозрачные чулки-«паутинки» или шелковые: и простые, и в узорах, даже с живописью, а также высокие ботинки на пуговицах, легкие изящные туфельки, умение красиво ходить и ровно, не косолапя, ставить ноги. Ничего этого не было у Марины – ни чулок, ни трепетной походочки. Она всегда топала, как лошадь, и косолапила, как медведь, а потому предпочитала мелькать голыми ногами, чем грубыми швами на неумело (она ведь была не только косолапая, но и косорукая во всяком рукоделие) зашитых чулках.

Ну и что? Не ее вина, что она влачит непосильную ношу убогой, скудной жизни. Даже и в былые времена, живя в громадном особняке миллионщика Аверьянова, она презирала все это «дамское счастье» – чулочки-туфельки-бантики-шляпочки. И тем сильнее презирает теперь, когда едва сводит концы с концами. Ничего, недолго осталось вам, милые барышни, мерить презрительными взорами ссыльную поселенку! Марина ведь не чета вам, разряженным, но пустоголовым, ничего не видящим дальше своих хорошеньких, припудренных носиков! Эта война разрушит ваш сладенький, чайно-конфетный, кисейно-кружевной, зефирно-пряничный мирок! Через год, самое большее через два камня на камне не останется от вашего достатка и благополучия. Прокатится, ох, скоро прокатится с запада солдатская волна... сметет старый, прогнивший и проржавевший строй, принесет свободу и новые порядки... Посмотрим тогда, кто на кого будет смотреть с презрением и что станет моднее: «паутинки» или голые, искусанные комарами ноги!

Итак, именно гордыня заставила Марину ответить согласием на Грушенькино приглашение. И скоро она уже сидела за столиком напротив эстрады, поглубже запихивая ногой под стол свой тяжелый, облезлый саквояж.

Кондитерская, чудилось, полна была разноцветных птиц, такой гомон стоял вокруг. Нарядных дам здесь было – не счесть! Официанты еле успевали подавать кофейники и блюда с пирожными.

– Принеси нам, Феденька, для начала горячего шоколаду, – с небрежностью постоянной клиентки приказывала Грушенька официанту, – а потом подашь жасминовый чай.

– А пирожные какие изволите, Аграфена Васильевна? – почтительно склонился официант. – Ваши любимые, безе да «картошку»?

– Ну, это уж всенепременно, – кивнула Грушенька. – Как же без них? Каждой из нас принеси по безе и «картошке». А еще подай ты нам, Феденька, «наполеонов», миндальных, «корзиночек», «сенаторских» да эклеров.

– Выходит, значит, двадцать одно пирожное, – подытожил Феденька, кивнул с довольной улыбкой и побежал из зала в раздаточную, скрывавшуюся за статуей фарфорового медведя, держащего в поднятой лапе блюдо с конфетами.

И в ту же минуту откинулась темно-бордовая шторка сбоку от эстрады, и на сцене появились музыканты.

Их было десять – все высокие, статные и довольно молодые: самому старшему не более тридцати пяти. Ну, что и говорить – эти яркие темноглазые brunеты, стройные, атлетически сложенные и обладающие отличной выправкой, не могли не притягивать взора. Особенно один из оркестрантов был хорош, самый молодой – не старше двадцати пяти, румяный, с бровями вразлет. Он был причесан на прямой пробор, и черные крылья волос, лежащие по обеим сторонам белого лба, шли ему необычайно. Прижимая к себе скрипку и поглядывая чуть исподлобья, он обежал взглядом кафе, и вокруг Марины словно ветер прошумел: раздался общий дамский вздох.

«Понятно, – насмешливо подумала Марина. – Той же породы паренек, что и Игорь Вознесенский!»

Воспоминание о признанном кумире всех дам и барышень родимого Энска произвело у Марины разлитие желчи, как называют беллетристы внезапный припадок злобы и ярости. Потому что от Игоря Вознесенского мысль ее естественным образом перелетела к той, которая глупо, наивно, по-дурацки, по-идиотски (уничижительные эпитеты она могла нанизывать до бесконечности!) была влюблена в красавца-актера, а именно – к троюродной сестрице Сашеньке Русановой, которую Марина ненавидела лютой ненавистью.

Чтобы хоть как-то перебить отвратительный вкус во рту, Марина быстро съела эклер (Феденька как раз поставил на стол три изрядных блюда с пирожными и кофейник с горячим шоколадом), потом «наполеон» и «картошку». Грушенька рассеянно колупала ложечкой безе, поглядывая по сторонам, ну а Надя, ее подруга, еще и кусочка не откусила, потому что взгляд ее был устремлен на красивого скрипача.

«Ага!» – многозначительно подумала Марина и быстренько съела еще одно пирожное – пышное, бисквитное, щедро украшенное бело-розовым кремом, – «сенаторское». Без малейшей передышки вслед за «сенаторским» отправились безе и «корзиночка». Теперь на блюде перед ней одиноко лежало только миндальное пирожное, и Марина смотрела на него с сомнением.

Во-первых, она не слишком-то любила миндальные пирожные. Во-вторых, во рту почему-то вместо горького желчного появился противный железистый вкус и начало подташнивать.

Слишком много пирожных, вот что...

И тут она заметила, что Надя отвела глаза от эстрады и смотрит то на нее, Марину, то на опустевшую тарелку. И как смотрит! С каким презрением!

«Да чтоб ты пропала! – с ненавистью подумала Марина. – Как ты смеешь на меня так смотреть, кисейная барышня? Вы с Грушенькой каждый день пирожные лопаете. А я... Разве ты знаешь, что такое безденежье, что такое невозможность купить сладкое, что такое – жить на унылом хлебе и рыбе, которую ненавидишь? Как ты смеешь на меня смотреть с таким презрением? Вот взять бы сейчас да и опрокинуть тебе на голову кофейник с горячим – пусть он будет как можно горячее! – шоколадом... Вот бы ты запрыгала! Вот бы посмотрел на тебя красавчик-скрипач, вот бы захохотал, вот ты поняла бы, что такое быть всеми осмеянной, презираемой, жалкой!»

Марина целых два года пыталась усмирять обиду на жизнь, которая обошлась с ней так жестоко и несправедливо. Но в эту минуту – о, как вдруг ожили подавленные, напоенные ядом и горечью чувства, как все вскипело, подкатило к горлу и готово было вот-вот выплеснуться в два обращенных к ней красивых девичьих лица!

Красивых? Ну уж нет! Они были отвратительны, отвратительны, отвратительны! Точно с таким же отвращением смотрела когда-то Марина на своих энских подружек – Тамару Салтыкову, Варю Савельеву, Сашу Русанову. Все они были одна в одну – изящные красотки. И Мопся, толстая, неуклюжая Мопся мечтала что-нибудь сделать с этой их красотой, унижить ее, растоптать. Не вышло! Не вышло! Руки оказались коротки!

С Тамаркой Салтыковой, между прочим, почти удалось разделаться, отправив ее с револьвером в сыскное управление – в сатрапа Смольникова стрелять. Но нет, ей повезло, глупой курице. Марина так и не смогла доподлинно узнать, что там произошло, известно было только, что покушение сорвалось, лишившаяся от страха рассудка Тамара долго лечилась в психиатрической клинике, но все же вышла оттуда и теперь работает сестрой милосердия в одном из лазаретов, которые во множестве открылись в Энске с началом войны. Вместе с ней работают Саша Аксакова и Таня Шатилова, приехавшая из Москвы дочь сормовского управляющего и двоюродная сестра Сашки с Шуркой. А Варя Савельева отправилась на фронт и теперь кочует где-то с бригадой санитарного поезда. Все новости сообщала Марине в письмах добросердечная и глупая клуша Олимпиада Николаевна, двоюродная тетушка, которая не оставляла заблудшую племянницу своим квохтаньем. Также она сообщала, что Дмитрий отбыл в действующую армию в первые же дни войны – и с тех пор о нем нет ни слуху ни духу, ни одного письма, хотя и известий о его гибели тоже нет...

Марина вынырнула из мешанины мыслей и обнаружила, что оркестр перестал играть. Музыканты смело переглядывались и перемигивались с дамами и барышнями. Под общий смех на сцену были даже брошены две или три плотно, на манер аптекарских пакетиков, сложенные бумажки – наверняка любовные записочки! Один из музыкантов, старше всех по виду и в пенсне, видимо, руководитель оркестра, покачал головой, отложил на стул свою виолончель, подобрал записочки и спрятал их в карман. И развел руками, глядя в зал и словно бы прося улыбкой прощения у дам, которые эти записочки бросили: мол, прошу извинить, но такие вольности пленным не дозволяются!

Тем временем красивый скрипач подошел к краю эстрады и, перегнувшись вниз, разговаривал с кем-то, стоявшим у входа в зал, под прикрытием портьер. Многие посетительницы «Чашки чая» обеспокоенно стреляли глазами в том направлении, а у Нади шея, чудилось, удлинилась раза в два, так она старалась разглядеть того не видного из-за портьер человека.

«Наверное, бесятся, вдруг там какая-нибудь красотка, соперница! – с презрением подумала Марина. – Ничего, пусть побесятся! Таким кисейным барышням это только полезно!»

Сама она точно знала, что беситься дамам совершенно не с чего. Ей-то было видно: скрипач разговаривал с мужчиной – высоким широкоплечим человеком лет сорока, с офицерской выправкой, темноволосым и темноглазым, с худым, точеным лицом. На нем был австрийский китель, и Марина поняла, что он такой же пленный, как и оркестранты.

Виолончелист в пенсне поглядывал на него с тревогой и наконец не выдержал – подошел к скрипачу и укоризненно похлопал его смычком по плечу. До Марины донеслись его слова, произнесенные по-немецки:

– У тебя будут неприятности, Мартин! У всех нас будут неприятности!

Скрипач, которого звали Мартин, выпрямился, кивнул человеку, стоявшему в дверях, и пошел к своему пюпитру.

И в эту минуту глаза Марины встретились с глазами человека, стоявшего за портьерой. Брови его приподнялись изумленно, улыбка тронула твердые губы, а потом человек резко шагнул назад и исчез.

Что это он так глаза вытаращил? Может быть, заметил, что перед остальными барышнями на тарелках по семь пирожных, а перед Мариной – только одно, и понял, что остальные она уже съела, и ужаснулся? Конечно, у них там, в Европах, много кушать дамам неприлично, они все тощие, как сушеная корюшка, которую привозят гиляки с Охотского моря и вялят, развешивая на веревках и распялках прямо на Нижнем базаре, так что на нее тучи мух слетаются.

Да и ладно! Не все ли ей равно, кто и как на нее смотрит? И вообще, давно пора уходить. Марина уже нагнулась было, чтобы вытащить из-под стола саквояж, но тут виолончелист поднял руку, призывая к тишине.

– Просим прощения, дамы и господа. А сейчас – танго! – объявил он по-немецки же, и посетители неистово зааплодировали.

Марина, если честно, знала немецкий с пятого на десятое и подозревала, что собравшаяся в «Чашке чая» публика знает язык еще хуже, однако слово tango в переводе не нуждалось. Его знала даже Марина – хотя ее танцевальное образование ограничилось теми классами, которые когда-то проходили у них в доме. До чего же глупо она тогда себя чувствовала... Наверное, тогда и началась ее тихая неприязнь к легконогим девчонкам, которым так просто давались уроки танцев, в то время как Марине приходилось зазубривать, затверживать каждое па, как таблицу умножения. Как неправильные глаголы немецкого языка!

Раздалась музыка – томная, вернее, томительная, с резкими переменами ритма.

– «Кумпарсита»... Божественная музыка! – выдохнула Надя и впрямь с молитвенным выражением лица.

Марина поморщилась. Ей не нравилось танго: ни мелодии, ни сам танец, – прежде всего потому, что по нему с ума сходили все ее энские знакомые барышни. Варя Савельева даже в знаменитую школу Мишель-Михайленко ходила. Потом, когда циркуляром министра просвещения Кассо гимназистам и студентам было запрещено посещать танцклассы, где преподавали этот «непристойный танец», Мишель-Михайленко пришлось переключиться на польки да вальсы. И вообще – в России стали относиться к танго гораздо прохладнее. Но до Дальнего Востока похолодание, видимо, не дошло. Публика весьма оживилась при звуках танго! И вдруг по залу буквально стон прошел – Мартин, который так и не взялся за свою скрипку, вдруг соскочил с эстрады, подошел к Грушеньке и склонился перед ней.

Грушенька чуть вскинула брови, как бы изумившись такой вольности, но, не чинясь, подала правую руку Мартину, встала перед ним, закинула левую руку ему на шею, подалась вперед, прильнув щекой к его щеке, прикрыла глаза...

«Разврат! – брезгливо подумала Марина. – Какой разврат!»

Надя скрипнула зубами так громко, что Марина подумала: во рту у нее теперь полным-полно крошек! Однако Грушенька на разъяренную подругу даже не оглянулась. Мартин наступал на нее, она отступала, поворачивалась, шла то к нему, то от него плавными полукружьями...

Молодые люди, бывшие в зале, немедленно вскочили, похватали сидевших поблизости красоток и тоже принялись ходить то медленными, то быстрыми шагами, то сближаясь, то отдаляясь, поворачивая вокруг себя дам и порою выделывая ногами какие-то невообразимые махи в воздухе или круги по полу.

Мартин и Грушенька казались совершенно поглощенными танцем, но порою губы их шевелились – они о чем-то разговаривали.

«Ишь ты, шпарит по-немецки почем зря! – завистливо подумала Марина. – И танго это... Подумаешь, строит из себя даму светскую, а сама кто? Отец-то ее из Энска голозадым уезжал, в долгах как в шелках, разжился только тут, на вольной земле, женившись на богатой. По расчету женился-то, по расчету, как Митька Аксаков на Сашке, пакостнице! Небось и Мартин вокруг Груньки круги кружит, потому что надеется тут повыгодней пристроиться, к Васильеву поближе, чтобы деньгами ссужал да продуктами. А то и побег помог бы устроить... Конечно, всё у них расчеты да выгоды, а что такое настоящая, подлинная любовь, они и знать не знают, ведать не ведают, где им изведать это, жалким мещанам! А вот я... а у меня вот...»

И вдруг ее хлестнуло огненным кнутом воспоминание о том, что испытала она, когда полюбила. Сначала они с Павлом (товарищем Павлом, оказавшимся сормовским доктором Андреем Туманским) накинлись друг на друга, словно два жаждущих случки зверя, а потом, когда Андрей узнал, что отец отнял у Марины деньги, он исчез из ее жизни, вообще исчез из Энска... Пока шло судебное разбирательство, Марина узнала, что и «Андрей Туманский» – тоже имя не настоящее, очередная партийная кличка, как и «товарищ Павел», а кто он, как зовется на самом деле – небось одному Господу Богу известно.

И все же она назвала сына именем его отца... тем именем, под которым увидела его впервые, под которым полюбила. Сын был записан в метриках как незаконнорожденный Павел Андреевич Аверьянов.

Зачем, зачем она начала об этом думать?! Старая боль только казалась забытой, приглушенной, подернувшейся пеплом. По сердцу ударило так, что Марина скрипнула зубами едва не громче, чем злополучная Надя. Да еще и слезы к глазам прихлынули. Да еще и приторный вкус во рту вновь напомнил о себе...

Нет, она больше не могла здесь оставаться!

Марина вскочила, выдернула из-под стола саквояж так резко, что свалила два стула, свой и тот, на котором сидела Грушенька, – и ринулась вон из зала. Промчалась по лестнице, прыгая через две ступеньки и придерживая рукой черную обвисшую юбку, чтоб в ногах не путалась. Она бежала, ничего не видя от слез, и, конечно, не обратила внимания на человека, стоявшего на первом этаже, в сторонке от перил широкой лестницы, и пристально посматрившего ей вслед.

* * *

Первый раз Дмитрий увидел Полуэктова еще в ноябре пятнадцатого. И день тот вспоминался ему потом не раз, хотя это был самый обычный день, не лучше, не хуже, не опаснее других, даже без боя обошлось. А все же он вспоминался – прежде всего потому, что как бы проиллюстрировал одну простую истину, уже несколько подзабытую: «Человек предполагает, а Господь располагает!»

Человек по имени Дмитрий Аксаков предполагал, что он, словно колобок из старой сказки, всех обвел вокруг пальца: и от бабушки ушел, и от дедушки, и от всякого прочего небогатого умом зверья. Господь же расположил напомнить ему, что на пути колобка попалась еще и лиса.

...Стояло сырое, туманное утро. Моросил мелкий дождь, и, казалось, конца ему не будет. Под ногами чмокала холодная слякоть. Полк топтался на месте в ожидании сигнала к выступлению: его перебрасывали в другое место.

На душе у Дмитрия было погано. Лежала какая-то смутная тяжесть, чудилось – еще усугубляемая скверной погодой. «Хоть бы на минутку выглянуло солнце! – угрюмо думал он. – Милое, ласковое солнце! Ну что бы тебе стоило своими горячими лучами пронизать насквозь мрачную толщу угрюмых, слезящихся облаков и хоть на мгновение обдать нас благодатным, желанным теплом... Так нет же! Нет и нет. И ничего не поделаешь с этим. А нам ведь вроде немного и надо. Неужели и солнце против нас? Бездушное солнце! И молиться ему бесполезно: все равно не услышит! Ему хоть бы что. Ему тепло – там, за облаками-то... самому себе светит, само себя греет... Вот знало бы, что такое, когда сапоги понемногу промокают, ноги начинают сильнее чувствовать холодную сырость и постепенно леденеют...»

Было зябко, неприветливо, мрачно. Бессильная, бессмысленная злоба возникала в душах солдат против этих слезящихся облаков, уныние и безнадежная апатия овладевали всем их существом. Одного хотелось в такие минуты: лечь пластом в холодную, глинистую слякоть – и лежать неподвижно до тех пор, пока не застынет все тело окончательно и сознание не унесется в нездешний мир...

Дмитрий понимал, что сейчас всей его ротой, всем полком владеет одно и то же настроение: желание покоя, пусть это даже окажется покой смерти. Нет, в самом деле, хорошо тогда станет: ничего не будешь чувствовать, ни сырости, ни холода, ни скверного настроения... А еще лучше, если по тебе случайно проскачет артиллерия... тогда уж и концы в воду, вернее, в эту жидкую грязь. Навеки, аминь! Полнейшая и беспросветная нирвана!

Но вот наконец пробежали вдоль рядов вестовые, передавая приказ: выступаем!

Выступили. Зашагали по скользкой глинистой дороге. Сначала едва-едва выдерживая заданный темп, потом все быстрее и быстрее, изредка озираясь по сторонам. Унылая обстановка: убогие халупы, давно покинутые людьми и полуразрушенные. Изредка можно было увидеть среди них пеструю изголодавшуюся кошку, отчаянно мяукающую при виде такой массы проходящих мимо людей. Странно, видимо, ей, думал Дмитрий: идут люди, много людей, а никто ее не приманит, не «кыскнет» ей, она по-прежнему остается одинокой, брошенной на произвол судьбы, как будто и не было никого...

Созерцание несчастной кошки повергло Дмитрия в полную тоску, однако к полудню слегка посветлело в небесах, а значит, и на душе. К тому же пришла команда: привал!

Остановились около полуразвалившейся деревеньки, в которой, впрочем, даже нашлись кое-какие жители.

– Живут ведь люди и в такой беспросветной глуши! – сказал кто-то из солдат. – И мила им, должно быть, эта глушь...

– Ну да, а ты у нас столичный житель, сейчас только из Санкт-Петербурга! – проворчали в ответ. – Небось в твоей Тьмутаракановке еще глуше будет!

– Иди ты! – беззлобно хохотнул первый солдат, и Дмитрий узнал голос: это был добродушный дальневосточник Назар Донцов. – У меня небось деревня зовется не Тьмутаракановка, а Вяземская. Что ж до Санкт-Петербурга касается, то нету – понял? – такого города. Уж, почитай, второй год именуется он, по особому государеву указу, Петроградом!

– Спасибо, – слышался ворчливый голос, – объяснил, разодолжил! И что б мы без тебя, всезнайки, делали? Совсем пропали бы, наверное!

Несколько солдат устало, неохотно хохотнули в ответ.

Посреди улицы возникла огромная лужа жидкой грязи.

Остановились.

Дмитрий прошел ближе к луже. Да... Это надолго! Вода чуть ли не до колена. Форсировали «водную преграду» медленно.

Между тем ротных командиров попросили собраться. Как раз шла «разбивка» деревенского жилья на роты. Смертельно хотелось обогреться, но на всех халуп не хватало. Пришлось установить очередь на право входа в халупы пополюторно.

Первая очередь была счастлива, и жестокой, несправедливой казалась участь второй очереди. Но что же было делать? Без ругани, конечно, не обошлось, ведь каждому хотелось попасть в первую очередь.

Дмитрий остался на дворе со второй очередью. Время тянулось, как... ну, словом, так, как может тянуться только время, когда ты его торопишь, а оно не слушается.

И вдруг его осенило. Да кто сказал, что надо топтаться на студеном ветру под дождем? Хата занята, но ведь в ней есть чердак!

– Второй очереди – залезть на чердак! – скомандовал он.

И, устроив своих, сам с облегчением спустился вниз, где для него был приготовлен сенник.

– Передохните, вашескобродие. И сапоги снять надо, первое дело – сапоги снять. Не просохнут, зато хоть отдохнут ноги.

Дмитрий разулся...

Вдруг из кухоньки появился фельдфебель.

– Вашескобродие, разрешите доложить: так что потолок трещит... как бы не рухнул...

– Спасибо, открыл Америку, – проворчал Дмитрий. – А то я сам не слышу.

В самом деле – от топанья ног наверху потолок так ходуном и ходил...

– Ну так идите, сгоните их оттуда!

– Эй вы там, уходи, слезай! Потолок проваливается! – заорал фельдфебель.

– А нам какое дело, пусть хоть земля проваливается! – слышалось сверху. – Нам ротный разрешил!

– Да ведь ротный же и обратно согнать вас приказал. Слышите, что ли? Слезьте оттуда, говорят вам!

Перебранка в том же роде длилась еще долго, пока Дмитрию не надоело:

– Да пес ли с ними, фельдфебель, пускай уж сидят, только не так топают. Коли потолок все еще не упал, зная, все же выдержит.

К общему удовольствию, он оказался прав: потолок выдержал.

Часа через три пришла команда идти дальше.

Дмитрий помнил, как не хотелось покидать деревеньку. Чуть не до слез! Так и лежал бы на убогом, жидком сенке... Однако пора было натягивать сырые

сапоги и тащиться на улицу.

«Что за предчувствие у меня дурное такое? – думал он с тоской. – Может, меня убьют? Вроде боя не должно быть... Но разве убережешься от случайной перестрелки? Или еще какая гадость приключится. Хотя куда уж гадостней этой грязюки...»

Сапоги промокли насквозь. Впрочем, от быстрой ходьбы люди немного согрелись. Дождь заморосил еще мельче: точно бы сквозь тончайшее сито кто-то просеивал воду. Однако от этого ничуть не было легче.

Шли весь день, и постепенно дурное предчувствие Дмитрия притупилось. Не потому, что он успокоился, а просто от усталости. К вечеру она куда сильнее давала себя знать.

Наступили сумерки, а потом сошлась и адская темнота. Где-то в отдалении ухали орудия... Время от времени на горизонте виделись вспышки, происходящие от разрывов тяжелых снарядов. Эти вспышки напоминали зарницы, которые каждый видел и не на войне.

В конце концов никто уже не обращал внимания ни на вспышки, ни на отдаленные залпы. У всех было одно неодолимое желание – лечь... где-нибудь, все равно – где, можно даже в грязи, только бы лечь и моментально уснуть мертвецким сном...

Дмитрий ощущал, что его начинает пошатывать из стороны в сторону. И с каждым шагом все сильнее и сильнее. Не упасть бы!

– Скоро ночлег, скоро ночлег, – передали по цепи.

Скорей бы... Однако пришлось пройти по каким-то невероятным колдобинам и по кочеряжнику еще версты три или четыре.

Ноги сами собой заплетались и то и дело задевали за что-то. Иногда, споткнувшись, солдаты падали в грязь... Один раз споткнулся-таки и пропахал раскисшую землю носом и Дмитрий. Эх, упадешь в грязь – и хорошо тогда

становится, и подыматься не хочется: так бы с удовольствием и остался полежать тут и заснуть хоть чуточку...

Упавших поднимали те, кто шел рядом.

Наконец вот и деревня.

– Слава тебе, Господи! – одним духом выдохнула рота. А впрочем, надо думать, и весь полк.

Все нетерпеливо бросились к халупам. И – о ужас! Деревня была занята!

Да нет, не стоит думать, что там оказались немцы. Деревню заняла – и даже переполнила – другая часть войска! Полку отведена была для ночлега другая деревня, но в темноте люди сбились с пути и попали не туда...

– Что делать? Как быть? – тревожно переговаривались солдаты. Сделать хотя бы шаг представлялось немыслимым.

Передали приказ командира полка – ночевать возле халуп, где сладко спали на соломе (вот счастливички-то!) солдаты из другой части.

Слава те, Господи, хотя бы дождь перестал!

– Офицеры есть? – выглянул кто-то из хаты, около которой остановился Дмитрий. – Идите в дом, тут на одного человека найдется место.

Он обернулся в нерешительности к своим.

– Идите, васкобродь, – пробормотал оказавшийся рядом Донцов. – Чего там, все ведь не поместимся, а вы идите. У вас сапожки фасонные... Небось промокли насквозь? Я же слышу, как в них хлупает!

Дмитрий вошел в хату.

Там было совершенно темно.

– Вон туда идите, – сказал незримый человек, голос которого, впрочем, показался Дмитрию таким знакомым, что он даже удивился. Причем голос этот вызвал в памяти что-то веселое, довоенное, почему-то звон бокалов и шипение шампанских струй... «Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро»!» – как сказал бы Пушкин, которого некогда обожал Дмитрий, пока не променял его на другого «Сашу» – Черного, который, впрочем, тоже не избегал этого напитка, как «суровый Дант не избегал сонета», и призывал:

Дешевым шампанским,

Цимлянским

Наполним утробы,

Упьемся!

Эх, хорошо бы... Да, шампанского бы сейчас, а еще лучше – коньяку для сугреву! Или хоть водки. «И пунша пламень голубой» тоже очень кстати оказался бы!

– Мы не знакомы, господин офицер? – негромко спросил Дмитрий, вглядываясь в темноту. – Отчего-то ваш голос мне знакомым кажется.

– А вы кто? – спросила темнота. – Честно признаюсь, ваш голос мне тоже что-то напоминает, причем очень приятное.

– Штабс-капитан Дмитрий Аксаков, – назвался он и немедленно услышал в ответ приглушенный хохоток:

– Митька! Шафера родного не узнал!

Ну конечно! Витька Вельяминов! Старинный друг, еще гимназический, бывший шафером на свадьбе Дмитрия и Сашеньки! Любитель стихов отнюдь не Саши Черного и даже не Саши Пушкина, а придворного поэта Владимира Мятлева, не упустивший случая процитировать какую-то его очередную поэзу даже на перроне Энского вокзала, откуда, под щемящие звуки марша «Прощание славянки», Дмитрий и Сашенька отправлялись в свадебное путешествие, которое окончилось, едва начавшись...

Они нашли друг друга в темноте ощупью и обнялись. Ринувшись к Витьке, Дмитрий невзначай наступил на чью-то откинутую руку. Обладатель ее проснулся и проворчал:

– Побережней, васкобродь! Не то ведь можно и вылететь в тычки!

– Что?! – не поверил ушам Дмитрий.

– Что, что... Что слышал! – издевательски передразнила темнота. – Ничего, сейчас уж не те времена, недолго вам «штокать» осталось!

– Молчать, Полуэктов! – страшным голосом, в котором отчетливо звучала бессильная ярость, прошипел Вельяминов. – Пойдешь под военно-полевой суд!

– Руки коротки, васкобродь, – ленивым, хамским голосом отозвался сгусток тьмы по фамилии Полуэктов. – Сам знаешь, солдатский комитет меня в обиду не даст. Потому помалкивай лучше и дружку своему скажи, пусть тут по рукам-ногам не шляется. А то, вишь, бросил низших чинов, наших товарищей, на дожде, а сам греться приполз.

Вельяминов, свирепо выдохнув сквозь зубы, ринулся было куда-то вперед, однако Дмитрий успел перехватить его и остановить.

– Ползают такие вши, как ты, – спокойно сказал он в темноту. – Люди – ходят. Это раз. Второе – дождя уже нет. Третье – коли ты такой хороший товарищ, – это испакощенное временем слово Дмитрий произнес с редкой, просто-таки зубодробительной ненавистью, – отчего бы тебе самому не пойти спать на улице, а сюда кого-то из тамошних низших чинов пригласить?

– Ладно умничать! – пробубнил Полуэктов. – Спать надо!

– Вот и спи! – шепотом рявкнул Дмитрий и пошел вслед за Вельяминовым в глубь хаты.

Раз или два он наступил-таки на чью-то ногу или руку, но обладатели их то ли очень крепко спали и ничего не заметили, то ли не сочли случившееся достойным брани.

Дмитрий разулся, снял шинель, улегся на сенник рядом с Вельяминовым и ощутил, как Витька весь трясется от злости.

– Знал бы ты только, какие сволочи у нас в солдатском комитете... – начал он чуть слышно рассказывать, однако облегчение, овладевшее Дмитрием после того, как он разулся, снял шинель и расстегнул ремень, было таким всепоглощающим, что он не мог ему противиться и мгновенно заснул.

Вельяминов вздохнул, закрыл глаза, еще раз мысленно назвал Полуэктова сволочью – и заснул тоже.

Спал Дмитрий буквально как убитый, а разбудил его сильным тычком в бок Витька Вельяминов, передав приказ по обеим частям, застрявшим в одной деревне: немедленно выходить. Началась обычная суматоха, Вельяминов только лишь мельком успел показать Дмитрию долговязого, рыжего бледнолицего солдата с наглым прищуром зеленых глаз. Вид Полуэктова, как и предположил Дмитрий ночью, мог вызвать у нормального человека только одно желание: дать ему в морду. Нет, могло возникнуть и еще одно: сдать эту сволочь военно-полевому суду. Однако сделать ни первое, ни второе сейчас не представлялось возможным, и Дмитрий только бросил на Полуэктова полный ненависти взгляд, от души надеясь, что Витьке Вельяминову долго с ним мучиться не придется: либо отправит в контрразведку, либо найдет эту долговязую рыжую тварь немецкая пуля.

Для себя же Дмитрий пожелал в тот день лишь одного: никогда, ни разу больше не видеть Полуэктова.

...А в тот день с утра дождя уже не было. Солнце улыбалось Дмитрию, когда его часть около полудня подходила к старому полуразрушенному костелу, где и остановилась на большой привал.

Потом, когда он узнал, что загаданное им желание не исполнилось, эта улыбка солнца казалась ему весьма коварной!

* * *

Убит? Кандыбин? Тот неказистый человечек в шинельке – убит?

– Ка-ак?! – недоверчиво выдохнул Шурка.

– Вас в самом деле это интересует? – спросил Охтин. – Извольте, скажу. Удушен с помощью бельевой веревки. Труп найден неподалеку от ночлежного дома на Рождественской улице. Очень может быть, что Кандыбин отправился туда по своим репортерским делам и кого-то разозлил чрезмерным любопытством. Обитатели тех мест этого свойства человеческой натуры не переносят и никому не прощают!

– Отчего же вы тогда напустились на меня – мол, я какие-то знакомства неподходящие вожу? – спросил злопамятный Шурка. – Вы что же, меня в причастности к убийству подозреваете?

– Поживем – увидим, – хмыкнул Охтин. – Однако не уводите разговор в сторону. Мы с Иваном Никодимовичем спросили, как вы докажете, что фельетон «Вильгельмов ждут!» – в самом деле очень смешной, я его читал с удовольствием, и господин Смольников читал, и мы немало хохотали при этом – ваше личное творчество?

– Следует найти мою рукопись и сличить почерки. Может, в столе у покойного посмотреть? – смущенно спросил Шурка. – Наверное, он все рукописи, свои и своих корреспондентов, в столе держал. Мою, наверное, тоже там спрятал.

– Попробовать поискать вообще-то можно, – кивнул Тараканов. – Хотя надежды мало.

– Почему? – встревожился Шурка.

– Да потому, что Кандыбин вашу заметку за свою выдать пытался, а значит, явно уничтожил оригинал. Но мы попробуем, я обещаю. Прямо сейчас, в вашем присутствии.

Он повернулся к своему столу и взял с него большой конверт из грубой серой бумаги, битком набитый какими-то листками бумаги, вырезками из газет...

– Вот содержимое кандыбинского стола. Я его немедленно изъяс после того, как мне сообщили о трагических обстоятельствах смерти моего репортера. Давайте искать.

И он, одним движением сдвинув на край стола все свои бумаги, вытряхнул содержимое конверта.

– Ну, вы свой почерк знаете, надо полагать, господин Русанов? – ухмыльнулся Тараканов. – Ищите, коли знаете!

Шурка принялся перебирать бумаги и очень скоро понял, что Тараканов был прав: Кандыбин, скорее всего, уничтожил написанный им фельетон. И что теперь делать? Как, в самом деле, доказать, что он не врет?

Шурка уныло перекладывал листки с места на место, лишь бегло взглядывая на них. Это были какие-то безграмотные записи, сделанные неприятным, корявым почерком. Изредка попадались листки, исписанные другой рукой, третьей... Шурка глянул мельком – это были объявления, в основном о поиске места.

– А что, Кандыбин еще и приемом объявлений занимался? – удивленно спросил Охтин, подошедший к столу и смотревший, что делает Шурка.

– Да нет, на это контора есть, – качнул головой Тараканов. – Однако странно, что здесь так много...

– А вот это неправильное объявление! – вдруг перебил Шурка, невзначай задержавшийся взглядом на одном из них, гласившем: «БЕЖЕНКА ИЗ РИГИ, опытная массажистка с десятилетней практикой, предлагает свои услуги. Варварская ул., дом 1 а, кв. 20. Ж. Немченко». – В указанном доме по Варварской улице нет двадцатой квартиры, – объяснил Шурка.

– А вам сие каким образом известно? – Брови Охтина удивленно взлетели.

– А таким, что я сам там живу, – заявил Шурка. – Дом двухэтажный, и в нем только четыре квартиры. И я всех жильцов по фамилиям знаю: доктор Санин, потом инженер Кондратьев, ну, конечно, мы, Русановы, а еще вдова действительного статского советника, мадам Куваева. Она на первом этаже, под

нами, живет и вечно ворчит, что мы стульями громко возим, у нее венецианская люстра сотрясается, и вообще, мы топаем ужасно, у нее от нас мигрень...

– Ну, быть может, эта Ж. Немченко просто что-то напутала, хотела написать квартира «2», а написала нечаянно «20», – перебил Тараканов. – Нет, я понять все же не могу, почему здесь столько объявлений!

– Она никак не может жить в квартире номер два, – перебил в свою очередь Шурка, – потому что это наша квартира. И вообще, у нас в доме нет никаких беженцев. Это, кажется, единственное доброе дело, которое мадам Куваева в своей жизни сделала, – ухмыльнулся Шурка, – нас от постояльцев избавила. Какие-то связи покойного супруга потрянула – и к нам никого не подселяли.

– Однако вы человеколюбивы, юноша, – хмыкнул Охтин. – Вот оно, молодое поколение...

– Да вы что? – возмутился за молодое поколение Шурка. – Ну, конечно, советница Куваева одна в пяти комнатах, к ней, наверное, и можно было кого-то подселить, но нас в пяти комнатах – четверо, у отца даже спальни своей нет, он в кабинете спит. Саша, сестра моя, с маленькой дочкой в одной комнате. Ей тетя Оля свою уступила, у нее была большая, просторная комната, а теперь она в прежнюю Сашкину перешла, гораздо меньшую. У нас одна незанятая комната – гостиная, она же столовая. Есть, конечно, еще боковушка, но там Даня живет, кухарка. Куда же подселяться, скажите на милость? – развел руками Шурка. – И у Саниных, и у Кондратьевых то же самое. А у вас что, на квартире беженцы живут? – не без ехидства спросил он Охтина.

– Ну, у нас такая избушка на курьих ножках на Похвалинской, около храма в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, что смотреть жалко. Только одно название, что собственный дом. Нас там четверо: матушка, брат с женой да я, да еще вот-вот у брата прибавление семейства случится, со дня на день ждем. Мы, может, и рады бы кого к себе подселить, да ведь некуда, – как-то избыточно многословно объяснил Охтин, словно оправдываясь.

Шурка ничего не сказал, но подумал, что отношения с человеколюбием у сыскного агента тоже не шибко ладятся.

– Вот и у нас та же история, – пожаловался Тараканов, продолжая перебирать листки с объявлениями и зачем-то раскладывая их на две стопочки. – Мы тоже на Варварке живем, в номере тридцать восемь. Вот там-то у нас аккурат двадцать квартир, но подселили беженцев только к вдове генерала Косицына. Она с нами на одной площадке живет, во втором этаже. Ей одной скучно было, дуре старой! Зато теперь весело: семейство беженцев, которое заняло у нее две комнаты, скучилось в одной, а свободную в свою очередь тоже сдавать начало. И тоже беженцам. Причем каких-то буйных жильцов нашли, им место только на улице Тихоновской, в психиатрической лечебнице, а не среди людей. Вообразите, один из этих жильцов считает, что он служит объектом радиотелеграфирования между Россией и Германией. Доказывает, что Россия наводнена немецкими шпионами, сообщаящими Германии по радиотелеграфу все, что происходит в России. Лучшим проводником радио, по мнению больного, считается человеческое тело, и вот его избрали для данной цели. Господин этот заболел до войны. Но только теперь он «осмыслил» свою болезнь: виноваты во всем немецкие шпионы. Он утверждает, что сейчас очень многие люди заболевают оттого, что не могут выносить действия радио. Я понимаю, конечно, психоз военного времени... Ну а вдруг тот господин вообразит, что он – германская пушка? И начнет выпускать снаряды по врагу? Не хотелось бы, знаете, оказаться рядом с ним в это мгновение!

Он сердито хохотнул и оглянулся на Охтина, словно ожидая, что тот его смехом поддержит. Однако Охтин тоже принялся рассматривать объявления и промолчал.

– Зато, – с внезапным воодушевлением продолжил Тараканов, – у нас в редакции двое беженцев, можно сказать, пригреты, и оба из Кракова. Швейцар наш, Антоний, а также Станислава Станисла...

Он не договорил, потому что Охтин вдруг изумленно воскликнул:

– Еще один неправильный адрес! Смотрите, господа! – И он прочел объявление: «БЕЖЕНКА ИЗ ЛИБАВЫ убедительно просит место конторщицы, кассирши, продавщицы или бонны. Провиантская ул., дом 17/2, Левинкович». – В этом доме находится казенная оранжерея. Я точно знаю, приходилось там бывать. Странно...

– Не только это странно, – проговорил Тараканов. – Взгляните-ка, господа.

И он широким жестом предложил Охтину и Шурке взглянуть на те две стопы, на которые разложил все объявления.

Охтин перелистал первую стопу, хмыкнул и передал ее Шурке, который воскликнул:

– Позвольте, господа!

– Ага! – многозначительно откликнулись хором Охтин и Тараканов. – Заметили, значит!

Трудно было не заметить. Все объявления оказались написаны всего двумя почерками. Один был словно бы женский, убористый, аккуратный. Владелица этого почерка извещала о том, что:

БЕЖЕНКА, ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА, ищет уроки и репетирует специально с детьми, тел. 20–50, от 2 до 7 час. Аптекарский магазин Холоденко, Большая Ямская, 40.

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА-БЕЖЕНКА с дипломом Варшавской консерватории может еще предложить уроки. Канавино, угол Московской и Царской улиц, дом Ремизовой, квартира доктора Бернадского, с 2 часов.

ФРАНЦУЖЕНКА, БЕЖЕНКА ИЗ ВАРШАВЫ, ищет урок. Рождественская ул., дом Андреева, m-Ile Pora. Видеть можно от 11 до 2 часов дня и от 6 до 8 вечера.

УЧИТЕЛЬНИЦА-БЕЖЕНКА дает уроки по предметам среднеучебных заведений. С предложениями обращаться письменно: Спасский пер., д. 2.

БЕЖЕНКА ИЗ ЛИБАВЫ убедительно просит место конторщицы, кассирши, продавщицы или бонны. Провиантская ул., дом 17/2, Левинкович.

Объявления в следующей стопе были написаны сугубо мужским почерком – небрежным, развалистым и в то же время твердым. Они гласили:

РЕПЕТИТОР, БЕЖЕНЕЦ ИЗ РИГИ, с многолетней практикой дешево дает уроки по новым языкам, коммерческим предметам и успешно готовит на звание учителя, вольноопределяющихся I и II разряда, I класса чиновника, аттестат зрелости, к вступительным экзаменам в военные и средние учебные заведения и помогает учащимся в занятиях. Составляются новые группы на вольноопределяющихся II разряда. Лично в 8—10 утра и с 2 пополудни до 9 вечера, Александровская ул., дом Бочкарева, кв. Герасимова (Канавино).

УЧИТЕЛЬ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, БЕЖЕНЕЦ ИЗ ВАРШАВЫ, хорошо знающий и умеющий хорошо читать торы, дает уроки недорого, молодой интеллигентный человек. Родителей, желающих учить своих детей упомянутому языку, покорно прошу заявлять свои адреса в еврейское бюро труда, Благовещенская слобода, дом Синева, тел. 2-41.

БЕЖЕНКА, ОСОБА СРЕДНИХ ЛЕТ, имеет личное и письменное удостоверение, ищет место кассирши, продавщицы, заведовать хозяйством у одинокого, в крайнем случае горничной или на пароходе. Адрес: Ошара, дом Грибкова, 2, квартира Горюновой, Нина Васильевна Корытникова.

БЕЖЕНКА, ВАРШАВСКАЯ МОДИСТКА платьев, переместилась по Ошарской ул., д. 12, угол Дворянской, кв. 2.

ПРИЕЗЖАЯ, БЕЖЕНКА, интеллигентная молодая особа, ищет место по хозяйству к одиноким. Может ухаживать за больным. Полевая ул., дом 83, от 2 до 5 часов.

БЕЖЕНКА ИЗ РИГИ, опытная массажистка с десятилетней практикой, предлагает свои услуги. Варварка, дом 1 а, кв. 20. Ж. Немченко.

– Очень странно, – пробормотал Шурка. – Почему мужским почерком написаны также и женские объявления? Почему здесь собраны только те объявления, которые даны беженцами? Может ли быть, Иван Никодимович, что ваш репортер пытался с помощью этих объявлений какие-то свои делишки обдeldывать?

– Например? – недоумевающе нахмурился Тараканов.

– Ну, например, каким-то образом узнавал о беженцах, желающих напечатать объявление, и предлагал им свои услуги в размещении. Брал за печатание дешевле, чем в газете. У вас ведь как? Ежели объявление перед текстом поставить, оно стоит по тридцать копеек за строку петита, а после текста по пятнадцать копеек, – щегольнул Шурка сведениями, полученными от Станиславы Станиславовны. – Объявления месячные, сезонные, годовые вы принимаете по особому соглашению, значит, дешевле. Например, Кандыбин брал оплату за разовые объявления как за годовые, деньги забирал себе, а само объявление втихомолку подсовывал в общую пачку, тому человеку, который их уже в газету ставит. Тот, конечно, не замечал: откуда ему знать, что эти объявления не из конторы принесли? Вот так оно и шло! – бойко развивал свою мысль Шурка, как вдруг осекся, заметив, что и Тараканов, и Охтин смотрят на него просто-таки вытаращенными глазами.

И спохватился, с кем говорит. Сообразил, что он, несчастный школяр (пусть даже из выпускного класса!), «вправляет мозги» (любимое выражение их учителя гимнастики!) двум взрослым людям. И смутился, и стушевался весь, и забекал, и замекал:

– Извините... извините... я что-то разошелся... я не то хотел сказать... извините, господа!

– Ничего, пожалуйста, – великодушно ответил Тараканов. – Однако вы, молодой человек, остры не по годам! Какая-то у вас криминальная сообразительность наличествует! Но вполне могло быть именно так, как вы изволили нам представить. В самом деле, взаимодействия между конторой, где объявления принимают, и секретариатом, где их на полосу ставят, у нас нет никакого. Да и

потом, никто не проверяет, оплачено напечатанное объявление или нет, а если да, то по какому тарифу. Эх, как же я это упустил из виду! – сокрушался он, и рыжие усы поникли, как стрелки упавшего барометра. – Надо будет контроль усилить...

– Вы его непременно усилите, – успокоил Охтин, – но несколько погодя. В любом случае, даже если наш юный друг прав и Кандыбин в самом деле устраивал некие финансовые аферы с объявлениями, не это стало причиной его убийства. С трудом верится, что какой-нибудь беженец или беженка придушили его бельевой веревкой за то, что он взял с них на пятак или гривенник дороже или вовсе обманул и оплаченное объявление в газету не поместил. Тут есть некоторые детали, которые привлекают к себе самое пристальное внимание. Первая, конечно, – несообразности в адресах. Потом – почерки. Почему всего два почерка? Зачем объявления, поданные разными людьми, нужно было переписывать? Кстати, это рука Кандыбина?

– Нет, мужской почерк не ему принадлежит, – покачал головой Тараканов, – ну а женский тем паче. Он писал так, что нам поначалу казалось, не издевается ли он над нами. Просто омерзительно писал!

– А скажите, Иван Никодимович, для чего же вы держали у себя в газете столь безграмотного и вообще никчemuшного человека, каким был, судя по всему, Кандыбин? – осведомился Охтин.

Теперь настал черед краснеть Тараканову.

– Видите ли, меня один знакомый попросил взять его, – пробормотал он. – Вернее, друг детства. Кандыбин вроде его племянник, кстати, тоже беженец.

– Так он что, поступил к вам на службу уже после начала войны?

– Да, приблизительно в середине прошлого года. Он родом из Вильно, с войной лишился родного дома и ничего о судьбе семьи своей не знал. Я его дядюшке не мог отказать, он весьма бедствовал после того, как с ним та история приключилась... – досадливо проговорил Тараканов и тут же, такое впечатление, прикусил язык – в буквальном смысле слова, потому что даже застонал тихонечко.

Конечно, это не осталось незамеченным Охтиным.

– Кто же его дядюшка и какая с ним приключилась история? – спросил он вроде бы небрежно, однако что-то такое прозвучало в его голосе, что заставило Тараканова вовсе стушеваться и пробормотать:

– Он попал в неприятную ситуацию... он некоторое время в заключении находился...

– Проворовался, что ль? – предположил Охтин. – Бухгалтер небось?

– Да нет, он не бухгалтер, он провизор, – вздохнул Тараканов, словно сожалеючи.

– Эва! – удивился Охтин. – Неужто отравил кого-то невзначай?

И тут Тараканов снова издал такой вздох, как если бы очень жалел, что его приятель не отравил какого-нибудь человека или даже нескольких.

– Ага... – пробормотал Охтин, меряя его взглядом. – Понятно, кажется! Неужто политический? И кто? Эсер? Большевик? По какому делу судился? Постойте-ка! Провизор, сказали вы? Как фамилия? Не Малинин, случаем?

Тараканов вздохнул вовсе уж похоронно, а Охтин понимающе кивнул:

– Вот оно что... Малинин Николай Степанович, он же товарищ Феоктист, проходил в мае четырнадцатого года по делу о нападении на Волжский Промышленный банк и покушении на начальника сыскного отделения полиции Смольникова. Судился в компании с Аверьяновой и прочими как организатор и содержатель конспиративных квартир. Обвинялся также в недонесении на готовящийся преступный умысел, о коем был осведомлен. Ну что ж, повезло ему: отделался только теми месяцами, что провел в заключении во время следствия. Сочтен неопасным для государства. А некоторым повезло куда меньше!

«А некоторым – совсем не повезло!» – подумал Шурка, который слушал Охтина ни жив ни мертв.

Товарищ Феоктист... Альмавива, как с первой минуты начал называть его Шурка – про себя, разумеется. Толстый, с багровым ноздреватым носом и склеротическими прожилками на щеках, с неровными, обвисшими усами, он был,

когда Шурка его впервые увидел, закутан в плед на манер испанской альмавивы (полы спереди закинута на плечи перекрестно) и обут в подшитые кожей деревенские валенки. Альмавива был хозяином конспиративной квартиры, вернее сказать, халупы близ Сенной площади, на Малой Печерской, куда однажды привела Шурку кузина Мопся Аверьянова и откуда он бежал сломя голову, ног под собой не чуя, быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, вне себя от счастья, что вырвался от этих жутких существ, именовавших себя эсерами, социалистами, а может, и большевиками, Шурка до сих пор хорошенько не понял, кто ж они были, те кошмарные товарищи – Феоктист, Виктор, Павел и два работяги-боевика, осуществлявшие охрану Павла и Виктора и оставшиеся безымянными. Сам Шурка (побывавший, повторимся, на подобном собрании один-единственный раз) отделался отеческим выговором начальника жандармского отделения Энска и своим клятвенным обещанием больше никогда – ни-ког-да! – не соваться ни в какие антиправительственные заговоры. Так же легко, судя по всему, отделался полуспившийся актер Грачевский, оказавшийся всего лишь жалким статистом на революционной сцене. Павел, он же Туманский, исчез, товарищ Виктор (он же Мурзик, он же Бориска), по слухам, был убит агентами полиции в случайной перестрелке, Тамару Салтыкову от расследования освободили по состоянию вконец расстроенной психики и по личной просьбе Смольникова... Мопсе, бедняжке, одной выпало нести на себе тяжесть кары, да и для нее наказание удалось смягчить – она была сослана не в каторгу, а всего лишь на поселение, поскольку оказалась беременна...

Всю эту жуть Шурка до сих пор вспоминал с содроганием. Ненавидел вспоминать, старался не вспоминать! А тут – на тебе...

– Однако я не помню фамилии Кандыбина в том деле, – продолжал Охтин.

– Так ведь он к дядюшкиным революционным играм вообще никакого отношения не имел, – сказал Тараканов. – Говорю же, приехал в середине пятнадцатого года. Я, конечно, либерал, но весьма умеренный, и никакого антиправительственного агента в своей редакции не потерпел бы. Очень не хотелось мне принимать кого попало, но Николай Степанович так за него просил... К тому же фактически жалованье племянника было единственным средством их существования, ведь с работы самого Малинина, понятное дело, выгнали...

– Милосердие, значит? – сухо произнес Охтин. – Ну-ну. А про то, что благими намерениями дорога в ад вымощена, слышали небось?

– Приходилось, – так же сухо отвечал Тараканов. – Вы на что намекаете? Мол, кабы не взял я господина Кандыбина на службу в редакцию, так он и по сю пору был бы жив? Ну, знаете, коли суждено тебе задохнуться, так хоть комаром, а подавишься. Вполне возможно, что служба в редакции тут вовсе ни при чем.

– Напомню, что репортер ваш не комаром подавился, а был удушен совершенно конкретным человеком, – вежливо возразил Охтин. – И у меня нет ни единого сомнения, что это имело отношение если не к его репортерской службе, то уж точно – к странным играм с объявлениями беженцев. – Он взял из стопы объявлений, написанных женским почерком, одно и снова прочел его вслух: – «ФРАНЦУЖЕНКА, БЕЖЕНКА ИЗ ВАРШАВЫ, ищет урок. Рождественская ул., дом Андреева, m-Ile Pora. Видеть можно от 11 до 2 часов дня и от 6 до 8 вечера». – Поднял глаза, подождал, испытующе глядя то на Шурку, то на Тараканова. – Ну, господа! Неужели вы не видите, не замечаете ничего странного?

Тараканов пожал плечами:

– Вам кажется странным, что француженка могла оказаться беженкой из Варшавы? Не вижу в этом ничего особенного! Чего только в жизни не бывает!

И тут Шурку осенило:

– Да нет! Штука в том, что Кандыбин был убит на Рождественке! Правильно, да? Я угадал?

– Угадали, – просиял улыбкой Охтин, и вдруг оказалось, что он никакой не невзрачный, а очень даже привлекательный человек. Улыбка у него была ослепительная, зубы – ну просто отборный жемчуг! – Да, все дело именно в Рождественской улице.

– Ну, господа хорошие, – разочарованно развел руками Тараканов. – Это несколько-с натянуто-с, позвольте вам заметить. Рождественка – она эвона какая длинная. При чем же тут француженка из Варшавы – и мой репортер? В огороде бузина, а в Киеве дядька.

– Иван Никодимович, Рождественка длинна, слов нет, и домов на ней несколько десятков, однако дом Андреева всего один, – терпеливо проговорил Охтин, и

Тараканов даже руками всплеснул:

– Мать честная... Ночлежный дом! Кандыбин был убит около ночлежного дома!

– Совершенно верно. А мамзель Пора... – Он вдруг осекся, помолчал, потом снова заговорил: – Она, стало быть, называет в качестве своего местожительства именно дом Андреева ... Вы можете представить себе француженку, пусть даже из Варшавы, которая живет в ночлежке Андреева? На дне, так сказать. До сего небось и господин Горький своей ширококрылой, словно его буревестник, фантазией не смог бы дойти!

– В самом деле, превеликие странности... – пробормотал Тараканов, снова и снова вчитываясь в объявление. – И как я сразу не заметил...

Шурка в это время просматривал другие объявления. Его взгляд давно уже зацепился за одну мелочь, только он никак не мог решить, стоит на нее обращать внимание Охтина или нет. Однако все же решился.

– А еще тут двойки кругом, – пробормотал он. – Может, конечно, это случайность...

– Какие двойки? – остро глянул Охтин.

– Да самые обычные, – Шурка потряс пачку объявлений. – В каждом из них есть цифра «2». Да вы сами взгляните, господа!

Господа немедля склонились к объявлениям и удостоверились, что и впрямь – в каждом из них имела место быть двойка. Либо в номере дома, либо квартиры, либо во времени, указанном для встречи. В объявлении Ж. Немченко двойка присутствовала в составе номера квартиры «20», но тоже присутствовала!

– Совпадение? – встревоженно спросил Тараканов.

– Да кто его знает, – озадаченно пожал плечами Охтин. – Надо поразмыслить. Однако приметливы же вы, господин Русанов! – повернулся он к Шурке. – Думаю, такую мелкую деталь только гимназист и мог заметить.

– Вы, наверное... – начал было Тараканов, как вдруг осекся и явно смутился.

Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы постигнуть смысл недоговоренной фразы: «Вы, наверное, сами двоечник, оттого эту цифру сразу и примечаете?»

Шурка покраснел от возмущения.

Безобразие какое! Конечно, на медаль он не тянул, ни на золотую, ни на серебряную, ни на жестяную, да и вообще отличником его назвать было бы сложно, однако двойки, иначе говоря, неуды, у него были только по физике. Ну и по математике. А также по химии. Ну так что ж? По складу ума своего Шурка Русанов был явный гуманитарий! Впрочем, по истории у него тоже встречались двойки... Один его ответ на экзамене по истории, касаемый Войны Алой и Белой розы, вообще вошел в анналы первой мужской энской гимназии, поскольку Шурка Русанов оскорбленно спросил преподавателя: «Я не понимаю, а при чем тут цветы?»

И все-таки намек Тараканова, даже невысказанный, следовало считать бестактным. Да-с, бестактным! Поэтому Шурка принял высокомерный вид и процедил сквозь зубы:

– Пишу я, во всяком случае, без грамматических ошибок, не то что этот ваш... И заметка «Вильгельмов ждут!» написана мною самостоятельно от слова до слова!

– Да, кстати! – спохватился Тараканов. – Мы совсем забыли, отчего, собственно, сыр-бор разгорелся. Значит, вы продолжаете настаивать на авторстве... А ведь можно очень просто выяснить, правду вы говорите или, пардон, несколько преувеличиваете свои возможности.

– А, понимаю, – хмыкнул Охтин. – Желаете провести следственный эксперимент, как это называется в нашем ведомстве?

– Вот именно, – азартно кивнул Тараканов. – Коли уж отсутствует возможность сличения почерков, стало быть, нужно сличить стиль. Садитесь-ка вот сюда, молодой человек... Кстати, как вас звать-величать прикажете?

– Шу... – начал было наш герой, однако спохватился и изрек: – Александр Константинович.

– Ох ты Боже мой! – вздохнул Тараканов, но спорить не стал: – Садитесь, значит, сюда, Александр Константинович, за мой стол, берите ручку, бумагу и извольте начать писать.

– Что же именно? – удивился Шурка, хватая редакторскую ручку, обыкновенную гимназическую «вставочку» (нет, не гусиное перо... но и не автоматическое, цена на которое в иных писчебумажных лавках доходила до пяти, а то и десяти рублей!), с изрядно обронзовевшим от частого писания фиолетовыми чернилами перышком «рондо». – Диктовку, что ли?

– Да нет, – ухмыльнулся Тараканов. – Сочинение на вольную тему.

– Что?!

– Да-да. Соизвольте-ка прямо сейчас, не сходя с места, представить мне записочку – неважно, какого размера, даже лучше не слишком длинную, чтобы времени не терять, – на любую житейскую тему. Конечно, ежели она будет коим-то образом касаться войны, совсем хорошо. Но, впрочем, сие не обязательно. Мне главное – ваш навык проверить. Коли вы про Вильгельмов и впрямь сами написали, задача сия для вас трудности не должна представить!

– Лихо! – одобрил Охтин. – Лихо придумано!

Шурка растерянно уставился в чистый лист. Ничего себе задачка! И впрямь лихая! Что же делать? Как же быть? Про что написать? Он чувствовал себя необстрелянным новобранцем, внезапно очутившимся на поле сражения без всякого оружия и боезапаса. Как на экзамене, когда вытягиваешь невыученный билет...

И тут его вдруг осенило догадкой. Он знает, о чем написать! И это будет, будет связано с войной!

Он обмакнул ручку в чернильницу, полную почти до краев, набрал от волнения чрезмерно много чернил и, стараясь поначалу не слишком надавливать, чтобы

из-под пера не летели мелкие кляксы, начертал заголовок: «Позиционная война». Подчеркнул его волнистой линией, потом еще мгновение подумал, обвел взглядом Тараканова и Охтина, которые смотрели на него во все глаза, радостно засмеялся, чувствуя какой-то незнакомый возбуждающий холодок во всем теле, – и, отрывая перо от бумаги лишь затем, чтобы макнуть его в чернильницу, принялся быстро-быстро писать.

«Позиционная война развернулась на первом участке фронта! Сейчас, конечно, период решительных боевых действий. В главной квартире неприятеля идет полным ходом подготовка к генеральному сражению, кое будет иметь место быть в первых числах июня. Рядом с привычной для нас картой военных действий вывешено также объявление о мобилизации.

Волнением охвачены как новобранцы, коим первый раз предстоит показать себя в боях, так и ветераны, вполне готовые к демобилизации.

Со своего наблюдательного пункта неприятель все внимательней озирает наши тесно сомкнутые ряды и порой ведет ураганный огонь, как бы мечтая их проредить. Малейшее сношение между армиями находит свое отражение в официальном органе неприятеля, а это грозит частичным успехом неприятеля с захватом наших в плен или даже заключением в лагерь военнопленных.

На всякий случай самые неустойчивые бойцы переведены в тылы наших армий. На передовые же рубежи выведены только снайперы, в любую минуту готовые вступить в стычку с неприятелем, отразить грубое нарушение нейтралитета, провести дипломатические переговоры и, конечно, стойко держаться под массовым огнем артиллерии. Когда начинается наступление неприятеля по всему фронту, вся надежда на наших снайперов. Впрочем, не дают оплошки и ратники второго разряда, которые уже поднаторели в сражениях, и они если не вступают в бой сами, то без задержек передают подкрепление тем, кому грозит поражение от неприятеля. Какое счастье, что в наших рядах нет изменников и перебежчиков! Да, противник окончательно расвирепел, и легко вообразить, с каким нетерпением мы ежедневно ждем сигнала к отступлению неприятеля, что означает затишье между боями. Но мы верим, что когда-нибудь наступит временное перемирие. Для тех же, кто все-таки потерпит поражение, всегда остается возможность сделать попытку отбить потерянные позиции. Главное, чтобы не было капитуляции, все остальное мы выдержим!»

Шурка оторвался от бумаги, быстро перечитал написанное.

– Ну что, готово? – нетерпеливо спросил Тараканов, а Охтин уже и руку протянул...

– Еще минуточку, – попросил Шурка, схватил другой листок и быстро-быстро застрочил на нем. Наконец вздохнул, оглядел написанное и скромно протянул первый листок Тараканову: – Ну вот, смотрите.

Тараканов прочел скоро, поднял брови, но ни слова не сказал и передал листок Охтину. Тот прочитал еще скорей, тоже поднял брови и уставился на Шурку:

– Разгадка во втором листке, я правильно понял?

Шурка кивнул и отдал ему второй листок, на котором значилось:

«ВОЕННЫЙ СЛОВАРЬ ГИМНАЗИСТОВ

Участок фронта – гимназия или реальное училище.

Позиционная война – занятия в классах.

Период решительных боевых действий – конец четверти или трети.

Генеральное сражение – годовые экзамены.

Карта военных действий – расписание уроков.

Объявление о мобилизации – расписание экзаменов.

Сношение между армиями – разговор во время урока.

Официальный орган неприятеля – кондуит.

Главная квартира неприятеля – учительская.

Новобранцы – ученики начальных классов.

Ветераны – ученики выпускных классов.

Демобилизация – окончание гимназии.

Частичный успех неприятеля с захватом в плен – оставление после уроков.

Лагерь военнопленных – гимназический карцер.

Наблюдательный пункт неприятеля – кафедра.

Ураганный огонь противника – беспощадное становление «единиц».

Проредить ряды армии – не допустить кого-то к экзаменам.

Неустойчивые бойцы – неуспевающие.

Тылы наших армий – «камчатка», задние парты.

Передовые рубежи, передовая линия окопов – передние парты.

Снайпер – отличник.

Стычка с неприятелем – ответ с места.

Грубое нарушение нейтралитета – неожиданный вызов к доске.

Беглый огонь неприятельской артиллерии – массовый опрос.

Вести дипломатические переговоры – разговаривать с учителем с целью выиграть время или потянуть до звонка.

Наступление неприятеля по всему фронту – опрос за весь курс.

Ратники второго разряда – второгодники.

Передавать подкрепление – передавать сдувалку.

Измена – ябеда.

Перебежчик – ябедник.

Сигнал к отступлению неприятеля – звонок с урока.

Затишье между боями – перемена.

Временное перемирие – каникулы.

Попытка отбить потерянные позиции – переэкзаменовка.

Капитуляция – исключение из училища».

– Мать честная! – сказал Тарakanов. – Вот это да...

– А сдувалкой теперь что же, шпаргалку зовут? – удивился Охтин. – Ишь ты! В наше время такого слова не было.

– В наше тоже, – подтвердил Тараканов. – Но не в этом закавыка... Слушайте, Русанов, что же мне с вами делать?

– А что? – спросил Шурка с замиранием сердца. – Вы все еще не верите, что про Вильгельмов я писал?

– В том-то и штука, что верю... – сердито сказал Тараканов. – Нет сомнений – писали вы! И даже верю, что именно на пенечке, одним духом. Но беда вот какого рода – гонорар я уже выплатил покойному Кандыбину, и назад его изъять, сами понимаете, не представляется возможным. К Малинину просить деньги обратно я тоже не могу идти. Как же нам поступить, а, Александр Константинович?

– Да ерунда! – махнул рукой абсолютно счастливый Шурка. – Гонорар ерунда! Хотите...

Он чуть не сказал: «Хотите, возьмите себе заметку про позиционную войну в гимназии, хотите, я вам еще сто заметок напишу... только печатайте их, только печатайте! Бесплатно!» – но осекся, потому что постеснялся: «Подумаешь, что я, шедевры пишу, что ли, так навязываться? Тоже мне, знаменитый журналист Влас Дорошевич нашелся!»

Тараканов и Охтин переглянулись.

«Небось думают – ну и наглец!» – решил Шурка и вовсе стушевался. Уходить пора, вспомнил он... Пора, а неохота!

– Поступим так, – предложил Тараканов. – Я вас возьму к себе на работу, репортером. Будете заметки писать, а я вам стану несколько переплачивать, чтобы ту сумму, ну, за Вильгельмов, покрыть постепенно. Однако на слишком высокие гонорары не рассчитывайте, понятно?

Шурка уставился на него вытаращенными глазами. Что он говорит?! Не может быть, Шурка, конечно, ослышался...

Охтин что-то сказал и протянул ему руку. Шурка руку машинально пожал, но ушам своим опять не поверил и тонким голосом переспросил:

– Что вы сказали?

– Я сказал: рад с вами познакомиться, господин Перо! – любезно повторил Охтин.

* * *

Чего-то в таком роде следовало ожидать. Глупо было надеяться, что от нее вот так просто отступятся! И тем не менее Лидия какое-то время ощущала себя в полной, блаженной безопасности... Словно птица, которая летит себе и летит, даже не подозревая, что где-то, в болотной тине, в камышах, сидит охотник с ружьем и медленно, с гнусным наслаждением, выцеливает свободный полет,

чтобы прервать его метким выстрелом... Птица падает в воду, трепеща от боли и мучительного ужаса, не понимая, что произошло, бьет крыльями по воде, вытягивает шею, раскрывает клюв в последнем усилии поймать уходящую от нее жизнь, словно она – мошка, всего лишь проворная мошка, за которой можно погнаться и схватить... Но нет, мошка-жизнь, воля, свобода уже упорхнули от нее... тинистая вода вот-вот сомкнется над шелковистой головой... И как будто этого мало судьбе, охотник, подбивший птицу, подходит к ней, хватая за горло и сворачивает голову набок. А потом пристегивает к своему ягдташу, и птица болтается на его поясе, свесив лапы и нелепо болтая скрученной головой на ставшей странно длинной шее...

Почему-то именно вот так – подстреленной птицей со свернутой шеей – представляла себя Лидия Шатилова после того, как к ней пришел сормовский рабочий Илья Матвеевич Силантьев и передал привет от доктора Туманского.

Вот уж на кого, на кого, а на Силантьева она бы в жизни не подумала, что он социалист, эсер или большевик, черт их всех разберет! До этого она видела его всего лишь раза три. Ну, от силы – четыре. Силантьев выглядел скорее как благообразный, богобоязненный крестьянин, чем как пролетарий, тем паче – пролетарий, обуреваемый жадой свержения существующего строя. И когда после исчезновения Андрея Туманского сыскной полиции и охране стало известно, какой на самом деле медициной занимался так называемый доктор, и начали они шерстить всех прежних знакомых Туманского, особенно ближних, бывавших, по показаниям квартирной хозяйки, у него на квартире, о Силантьеве даже и не упоминал никто.

Лидию Николаевну тоже обошли вниманием. По счастью! Потому что в этом случае открылась бы, пожалуй, картина поинтересней, чем связи с рабочими.

Вот именно – связи!

Но обошлось...

Вместе с остальными членами профсоюзного комитета сормовичей Силантьев бывал в доме у Шатилова, который, даже после того, как его обманул пригретый им Туманский, не утратил охоты заигрывать «с народишком». Лидию муж тоже заставлял присутствовать на встречах с «профсоюзниками», и она подчинялась, хотя терпеть этого не могла и дивилась не только Никите, но и сыну, Олегу, для

которого, такое впечатление, разбирательство во всевозможных «народных нуждах» составляло если не наслаждение, то, во всяком случае, интерес. И тем не менее бывать на собраниях Лидии приходилось – как председательнице дамского комитета Сормова.

Фрондерство среди интеллигенции вошло еще в б?ольшую моду, чем в довоенные годы. Прочие комитетчицы, жены инженеров, были женщины передовые, прогрессивные, то и дело заводили разговоры о производственных делах, ну и госпоже председательнице пришлось приучиться болтать не только о модах или литературных новинках, но и «болях и радостях рабочего класса» – так это называлось. Слушать обожаемого Лидией Кузмина – «Если бы я был твоим рабом последним, и сидел бы я в подземелье, и видел бы раз в год или два года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь...» – им казалось отсталым и пошлым. А про «вонючие онучи», как в глубине души, ума и сердца называла заигрывания с пролетариями Лидия, – сколько угодно!

Ну что ж, с волками жить – по-волчьи выть.

Приходилось выть на заседаниях дамского (!) комитета про «онучи».

Очень хорошо принимались прогрессивными инженершами те прибаутки-рассказки, которые Лидии удавалось услышать именно от Силантьева.

На собраниях, устраиваемых Шатиловым, он сидел и благостно улыбался, в шумные споры не вмешивался, главному инженеру никогда не противоречил. Только изредка, стоило разгореться спору, он, словно и невпопад, словно для того лишь, чтобы повеселить собравшихся, пересказывал какие-то смешные истории, услышанные от неведомых знакомых.

– Вот какая была в Балахне на днях история: началась драка среди парней, потом пристали мужики, и в конце концов дралась чуть ли не вся улица. В ход пошло все, что может служить оружием: колья, вилы, топоры, ножи, кастеты, трости. Некоторые были вооружены даже шилом. Один парень, убегая от преследующих его и видя, что дело его плохо – могут догнать, пустился на хитрость: сбросил с себя куртку, а сам, пользуясь темнотой, юркнул в ближайший двор. Преследователи думали, что это упал и лежит преследуемый,

и набросились на пальто. Пальто обратилось, как впоследствии выяснилось, в решето: все было исколото. Многие из сражавшихся оказались потом в больнице. Один изранен куда как серьезно, и очень возможно, что умрет. Спросите, из-за чего же началась вся каша? Да ни из чего. Или, вернее, из-за «кислушки». Ведь в окрестностях Сормова во многих селениях варят особый напиток – «кислушку», а сваривши – пьют, а напившись – дерутся. Я не знаю, из чего варят «кислушку», но, кажется, основная составная часть – дрожжи. Употреблявшие напиток говорят, что «кислушка» – препротивная вещь, но опьянеть от нее можно... получше, чем от водочки. И еще одно свойство у «кислушки» – она человека в бешенство вводит. «Бывало, когда он водку пил, – рассказывала одна баба о своем муже, – то никогда пьяный не буянил, а выпил в прошлый раз не больше трех бутылок «кислушки», так погляди-ка, что накуролесил: печку изломал, перину топором изрубил...» Туго в наших краях трезвость прививается! – нравоучительно заканчивал Силантьев.

И все принимались обсуждать неискоренимую тягу в русском народе к пьянке, и кто-то непременно вспоминал Владимира Мономаха, мол, Руси есть веселие пити, не можем без того жити, и в этом сходились все единодушно – о прежнем же споре забывали. Потому-то Шатилов и смотрел на Силантьева с умилением, привечал, хвалил за умение разрядить всякую обстановку, называл его оплотом державы, прочил, что в будущем такие вот умеренные демократы из народа украсят любой правительственный кабинет своей житейской, глубинной мудростью...

Лидии Илья Матвеевич тоже в общем-то нравился. А Олег его отчего-то терпеть не мог и называл горьковским старцем Лукой. А еще чаще – Платоном Каратаевым и Иудушкой Головлевым. Честно говоря, пытаться понять, отчего эти три столь различных литературных персонажа слились в голове сына в нечто единообразное, у Лидии не имелось никакой охоты. Со своими бы делами разобраться!

А впрочем... Если честно, если совсем уж положила руку на сердце сказать, то ни с чем особым разбираться ей не приходилось, поскольку дел вовсе не было. После гибели Бориски и исчезновения Андрея Туманского, последнее «партийное поручение» которого ей пришлось-таки выполнить прежде всего потому, что оно доставило ей несравненное наслаждение чувством власти над семейкой Русановых, а главное – над Константином, из-за которого Лидия лет двадцать назад чуть жизни себя не лишила – сейчас уж точно не стала бы из-за него в Волгу кидаться, так что верно говорят, мол, все на свете относительно! – так

вот, после того как этот «социал-революционный» период в ее жизни закончился, жила она скучно, уныло, однообразно, пробавляясь разве что тем, что чрезмерно часто бывала у Русановых, зная, что все они как один ее на дух не выносят. Лидия не сомневалась, что Constantin noble, благородный Константин, не выдал ее ни деткам, ни сестрице Олимпиаде Николаевне, но вовсе не потому, что пощадил Лидию, ее реноме в глазах семьи, – щадил он прежде всего собственное реноме, развратник несчастный, двоеженец пакостливый, лицемерный Тартюф! – и с трудом скрываемая неприязнь к ней проявляется у всех Русановых как бы интуитивно. Однако ей было плевать на их неприязнь. Чем хуже, как говорится, тем лучше! Бывать у них, наблюдать за ними было чуть ли не единственным лекарством от мертвящей скуки, владевшей всем существом ее после исчезновения из ее жизни Бориски и Туманского.

Ей не хватало этой парочки отъявленных злодеев! Среди так называемых «порядочных людей» Лидия Николаевна Шатилова, отчаянная авантюристка, как и все сестрички Понизовские (нет, в семье не без урода, добродушная корова Олимпиада тому свидетельство), чувствовала себя белой вороной. Ей не хватало грубой страсти Бориски и собственных стонов, которые она испускала в его объятиях. Ей не хватало утонченного интриганства Туманского и своей постыдной зависимости от того и другого. В каком-то иностранном журнале Лидия вычитала о теориях модного в Европе доктора Захер-Мазоха и теперь с извращенным удовольствием (с таким же почти, с каким раньше в глубине души называла себя шлюхой) именовала себя мазохисткой.

И все же она переоценила собственную жажду страданий и свой пресловутый авантюризм! Потому что, когда Илья Матвеевич Силантьев однажды явился в дом управляющего заводом – якобы повидаться с господином Шатиловым (в то время как каждая собака в Сормове знала, что управляющий по вызову хозяев завода отбыл в Москву), а потом выяснилось, что ему нужна Лидия Николаевна, – у нее и возникло это ощущение себя подстреленной птицей со свернутой набок головой. Никакой радости и оживления, обещанных доктором Мазохом!

– Я ведь на самом деле к вам, – как-то особенно просветленно улыбаясь (при виде его улыбки Лидия вспомнила Иудушку Головлева, с которым сравнивал Силантьева сын), проговорил Илья Матвеевич. – Мне один ваш знакомый сказывал привет вам передать.

Черт знает почему, Лидия подумала в ту минуту о Мистакиди – молодом инженере сборочного цеха, среди предков которого были греки, оттого он и

носил такую фамилию, красивом, словно Патрокл или Эней. «Эллинский ирой» явно готов был пофлиртовать с обворожительной мадам Шатиловой... ну а она в его присутствии начинала чувствовать, что возрождение к жизни все же для нее возможно. А пуркуа па?!

– Знакомый? – вскинула Лидия брови, и голос ее зазвенел кокетливо и возбужденно. – Какой еще знакомый?

– Андрей Дмитриевич Туманский. Помните такого?

У Лидии упало сердце, а сама она упала в кресло. Потрясение было настолько сильным, что не нашлось даже сил прятаться за дешевые уловки типа: ах-кто-это-я-и-думать-забыла-про-этого-господина. Она полулежала в кресле, мелко, часто дышала, вглядываясь в добродушное лицо Силантьева, и страстно жалела, что не обзавелась в свое время (хотя шашни с отпетым боевиком Бориской вроде бы напрямую располагали к этому!) оружием. Убить его, убить... – вот единственное, чего ей сейчас хотелось.

Потом кровавая муть отошла от глаз, а кровавый, железистый вкус во рту как-то поутих.

– Вижу, помните Андрея Дмитриевича, – кивнул Силантьев, довольный, словно клоп. – Он просил вам одну просьбу свою передать.

– А вот я сейчас как возьму и протелефонирую в полицейское управление, – проговорила Лидия со всем возможным и невозможным спокойствием. – И попрошу поскорей приехать, чтобы у вас с пристрастием выпросили, с какой такой радости вы мне приветы от эсера беглого, полицией разыскиваемого, шлете...

– Да что вы, Лидия Николаевна! – свободно, как к равной, обращаясь к ней, усмехнулся Силантьев. – Не станете вы никуда телефонировать. Да и зачем? Только сердце себе надрываете. Я ведь только привет сказать хотел. Привет и одну маленькую просьбу. А что особенного в привете и просьбе?

– Какую еще просьбу?! – воскликнула Лидия в ярости.

Как Туманский смеет просить? Он далеко, у него теперь нет власти над ней! Да и знаем мы эти просьбы... Сейчас вот Иудушка вопьется, словно клещ...

– Просьба такова, – спокойно и обстоятельно заговорил «Иудушка». – Ваша племянница замужем за господином Аксаковым. Так? Вы же, по словам доктора Туманского, их и сосватали...

Как уже упоминалось, история этого, с позволения сказать, сватовства, устроенного по приказу Андрея Туманского, была одним из приятнейших воспоминаний Лидии, а потому она даже позволила себе сейчас кривую улыбку:

– Ну и что с того? Дмитрий Аксаков как ушел в действующую армию в первые же дни войны, так от него с тех пор ни слуху ни духу не было. Может статься, его давным-давно убило или германцы в плен забрали.

– Да как вам сказать... – покачал головой Илья Матвеевич. – Промеж наших есть такое мнение, будто жив он, жив и здоровствует. Якобы видели его, говорили с ним. Однако имеются сомнения, тот ли это Дмитрий Аксаков, коего мы разыскиваем. Мало ли Аксаковых на свете, даже и штабс-капитанов! Необходимо нам уточнить, в самом ли деле ваш Аксаков пропал или же просто скрывается. Вы должны вызнать это у вашей племянницы.

– Я никому ничего не должна! – запальчиво выкрикнула Лидия. – Тем более – вам, Силантьев. Вы, оказывается, тоже эсер? Да если я скажу мужу, что вы собой представляете, неужели вы думаете, он вас хоть несколько лишних часов на заводе терпеть станет? Вылетите вон, да еще и в охранке побывать придется, если вы располагаете сведениями о Туманском!

– Ну, ну... – пробормотал Силантьев с какой-то журчащей, редкостно человеколюбивой интонацией, которая живо напомнила Лидии старца Луку и одновременно Платона Каратаева, и она в очередной раз убедилась в том, что сын ее – человек хоть и молодой, но весьма проницательный, не говоря уже о том, что начитанный. – Сказал уж вам – ни к чему сердце рвать попусту... Сами знаете, по ком сильней стукнете, если в меня бить начнете. Как бы самой себе пальчики молоточком не отшибить. К тому ж я не эсер никакой, а принадлежу к партии РСДРП(б). Большевик, стало быть, так же, как и Андрей Дмитриевич, вам известный...

Совершенно непонятно, отчего сообщение о том, что Туманский не принадлежит к эсерам, в которых в приличном обществе принято было находить (вернее, искать) хотя бы намек на интеллигентность (несмотря на то, а может быть, именно благодаря тому, что они в свое время разорвали на кусочки бомбой великого князя Сергея Александровича и множество других добрых и недобрых, достойных и недостойных людей), а состоит в партии большевиков, произвело на Лидию умиротворяющее впечатление и заставило ее в очередной раз смириться со своей участью – быть эксплуатируемой рабой доктора Туманского. Наверное, это внезапное смирение свидетельствовало о том взбаламученном состоянии, в каком находились ее ум и сердце. Или, вероятно, о том, что идеи Захер-Мазоха произвели на нее куда более глубокое впечатление, чем хотелось бы признать. А может быть, оно свидетельствовало о том, что ни ума, ни сердца у нее вовсе не было. Что ж, пожалуй, последнее – вернее всего...

Так или иначе, но Лидия смирилась, выкинула, выражаясь модным армейским языком, белый флаг и выпустила парламентаря для переговоров.

– Да я сколько раз у Сашки про мужа спрашивала, – фыркнула пренебрежительно Лидия Николаевна. – Ничего она не знает, писем не получает, официальных сообщений о Дмитрие никаких не имеет.

– Как же она будет их иметь, если ни разу не обратилась за сведениями о супруге своем к воинским властям, которым надлежит такие сведения о пропавших фронтовиках давать? – спокойно возразил Илья Матвеевич, который, видимо, слишком уважал свою собеседницу, чтобы позволить себе отпустить в ее адрес какие-нибудь пошлые и уничижительные слова типа: «давно бы так, а то, понимаете, бросили, аки дитя малое...» – Точно такое же спокойствие проявляют и мать с отцом господина Аксакова, хоть отец его – товарищ прокурора в Москве, человек, значительной властью облеченный, мог бы, если бы хотел, разузнать, что с сыном и где он! Вот именно – если бы хотел ... Судя по всему, не хочет! Однако, скажу вам не таясь, Лидия Николаевна, сведения о жизни или смерти господина Аксакова имеют для нашей партии очень важное значение. Так что вы уж расстарайтесь, голубушка, разузнайте, какова его судьба на самом деле.

– Ну и как, по-вашему, я это сделаю? – пожала плечами Лидия.

– Да уж как-нибудь по-родственному, – ответно пожал плечами Илья Матвеевич.

– Что Сашка, что все Русановы меня не выносят, я последний человек, с которым они откровенничать станут, – усмехнулась Лидия. – Понимаете? И даже если они что-то скрывают... хотя совершенно не понимаю, зачем... Вообще-то они радоваться должны, если Дмитрий погибнет или что-то дурное с ним случится, потому что в этом случае к Сашке, как его вдове, вернутся права на ее собственные, точнее сказать, аверьяновские деньги, которые она получила – и немедленно принесла в приданое Аксакову...

Лидия просто размышляла вслух, однако стоило ей заговорить про деньги, как Илья Матвеевич, доселе хранивший на своей благообразной физиономии выражение почти отеческого расположения и спокойствия, внезапно изменился: словно хорошо затертая стена хатки-мазанки вдруг взяла да и дала заметную трещину. Выражение хищной алчности мелькнуло в его глазах, рот приоткрылся, будто Илья Матвеевич хотел о чем-то спросить, да не решился.

Лидия насторожилась.

Мигом вспыхнул в памяти тот, двухлетней давности, разговор с Туманским, во время которого «добрый доктор» поразил ее своим желанием знать всё, досконально всё, о сердечных тайнах ее племянницы и непременно пристроить ее замуж за Дмитрия Аксакова. Уже тогда мелькало у Лидии подозрение, что здесь дело нечисто, ну а сейчас оно вовсе окрепло. Неужели и впрямь здесь повторялась знаменитая история с деньгами Шмидта, о которой в свое время если не громогласно и не вслух, то весьма прямыми намеками частенько упоминала Зинаида Рейнбот, московская приятельница Шатиловых и близкая подруга Лидии?

Зинуля-то Рейнбот знала ту темную историю из первых, можно сказать, рук, поскольку Николай Шмидт был родственником ее покойного мужа, Саввы Морозова. История же состояла в том, что Шмидт, точно так же, как и его дядюшка, играл в опасные игры с революционерами, которым отчислял крупные деньги. Что для одного, что для другого «игры» кончились поражением: Зинаида была уверена, что муж ее убит, а вовсе не покончил с собой, и точно в такой же уверенности пребывали близкие относительно Николая Шмидта. Зинаиде так и не удалось отсудить сто тысяч рублей, завещанных Саввой обожаемой им актрисе Марии Андреевой (гражданской жене писателя Горького) и перешедших в собственность партии, финансовым агентом которой служила сия обворожительная особа. Ну а деньги Шмидта (два миллиона), унаследованные его племянницами, по слухам, попали в руки партии большевиков, поскольку

двое партийцев по заданию ЦК (и лично товарища Ульянова-Ленина, который их курировал и направлял!) женились на глупеньких, страшненьких, засидевшихся в девках барышнях Шмидт и прибрали к рукам все их состояние. Зинаида Морозова-Рейнбот была в этом совершенно убеждена, однако позволяла себе лишь намеки, да и то в узком кругу – потому что боялась за свою жизнь: просто-напросто боялась, что и она однажды может точно так же «покончить с собой», как Савва в Ницце или его племянник в Москве.

Мысли Лидии Николаевны начали выстраиваться в определенном направлении. А что, если Дмитрий Аксаков тоже явился финансовым агентом Туманского и той партии, к которой Туманский принадлежал? Что, если деньгам Саши Русановой надлежало после свадьбы быть переведенными на какой-нибудь секретный счет в Цюрихе, Женеве, Париже, Лондоне? Что, если Дмитрий просто-напросто воспользовался неразберихой войны и попытался улизнуть от выполнения своих обязательств?

Ну и ну... Русановы живут сейчас довольно скромно – совсем не так, как могли бы жить владельцы огромного состояния. Видимо, Саша имеет право на совсем небольшой процент от денег, потому что весь капитал находится в распоряжении Дмитрия Аксакова, а он... Вот именно, он! Где же он?

– Зачем вам знать о судьбе Аксакова? – спросила Лидия, почти не сомневаясь, что ответа никакого не получит, а если получит, он не будет иметь никакого отношения к правде.

И угадала – Силантьев пожал плечами:

– Этого я не знаю, и знать сего мне не надобно. Не мое дело! Я человек маленький – поручили мне передать просьбу Андрея Дмитриевича, вас касаемую, я все и исполнил. Теперь ваша работа началась.

Лидия отвела глаза. С тех самых пор, как почти двадцать лет назад она бросилась с волжского откоса, вне себя от горя, потому что не в силах была добиться любви молодого и красивого адвоката Константина Русанова (не погибла обезумевшая девчонка только чудом!), у нее остались два смертельных врага на свете: сам Костя Русанов и счастливая соперница – сестра-близнец Лидии, Эвелина. И даже когда около десяти лет назад Лидия узнала, как поступил красавчик Константин со своей женой и в чем заключается тайна его

вдовства, даже после того, как она внешне помирилась с сестрой, давняя ненависть и ревность продолжали грызть ее душу. Третья сестра Понизовских, Олимпиада, по-прежнему глупо, по-девичьи (теперь уж по-стародевичьи!) обожавшая Константина Анатольевича и посвятившая жизнь воспитанию его детей, стала Лидии совершенно чужда и, пожалуй, входила в число вражеских пособников. К племянникам своим, в одночасье сделавшимся несравнимо богаче ее собственных детей, Лидия не могла испытывать не только никаких родственных и даже не родственных, но и хотя бы теплых чувств. Саша и Шурка платили ей тем же и держались по отношению к тете вежливо, но настороженно. Ну и почему она должна теперь, оказавшись перед лицом смертельной опасности, думать о них, заботиться о них, а не о себе?

Лидия Николаевна несколько преувеличивала опасность... Конечно, первое упоминание о Туманском и впрямь повергло ее в кошмарную панику, однако минуты шли, и она постепенно успокаивалась. Когда-то Туманский играл против нее очень сильными козырями. Но смерть Бориски освободила Лидию. Даже если Туманский через своих подручных выполнит старую угрозу и донесет Шатилову о прежних постельных забавах его жены с эсеровским (или все же большевистским? Ах, да не один ли хрен, простите...) боевиком-пролетарием, вернее, вовсе люмпеном и преступником, доказательств тому нет никаких. Одна болтовня, одни наветы!

Наветы Туманского против оправданий Лидии...

Даже если Шатилов поверит (ему известен и огненный темперамент жены, и несколько ее прежних грешков, в том числе роман с Лаврентием, репетитором сына; собственно, с этого романа все и началось, начала плестись та самая паутина, в которой теперь увязла Лидия, словно неосторожная мушка...), итак, даже если Никита Ильич поверит Туманскому, ну что он может сделать? Развестись с женой? А зачем? Они с Лидией взаимно дают друг другу свободу, и если Лидия спокойно переносит присутствие в жизни мужа какой-то Машеньки (по слухам, совсем юная сиротка, которую добрый управляющий хорошо выдал замуж за бессловесного мужа, много старше ее... отыскался же и в Сормове свой Амфитрион), то и Никита, очень может быть, прекрасно знал о существовании Бориски. Все возможно!

Поэтому Лидию ничто и никто не может заставить пойти на поводу у Туманского! Никто и ничто не властно над ней! Кроме... нее самой.

Как всегда! Как было, есть и будет всегда!

– Хорошо, – сказала она, совершенно спокойно глядя в отвратительно благообразное лицо Силантьева. – Я постараюсь узнать то, что вы хотите. – И, помедлив, добавила глумливо: – Не забудьте при случае передать от меня ответный привет господину Туманскому!

Лидия не сомневалась, что доктор Туманский поймет: его власть над мадам Шатиловой кончилась, и если она исполнит его просьбу, то лишь потому, что сама захочет.

Только по этой причине. Ни по какой иной!

Ну да, ну да, конечно... Однако просьба-то все же исходила от Туманского!

* * *

Марина вернулась домой и только тут заметила, что потеряла подметку. Наверное, когда увязла в грязи, «форсируя» Чердымовку.

Сяо-лю очень огорчилась и разразилась длинной возмущенной речью, сквозь смысл которой Марина продралась с трудом. А впрочем, чего тут трудного? Все совершенно понятно!

– Эта сапожника настоящий хунхуза еси! Товара бери, нисево не делай, басмак не чини... плохой селовека! Как мозна такой селовека еси – бутунда, никак бутунда!

«Бутунда» по-китайски означало – «не понимаю». Сяо-лю категорически отказывалась понимать, как можно быть таким плохим человеком, который деньги за работу берет, но ничего не делает. Марина тоже считала, что это разбой среди бела дня, однако, честно сказать, денег-то сапожник из «шанхая» с Марины как раз не брал, а брал «товарой», то есть тем самым «сапожным товаром», в котором все обладатели и носители обуви испытывали сейчас такую нужду, что можно было драть с них за починку втридорога. То есть он отыгрывался на других за ее счет. И, конечно, он был очень заинтересован в том, чтобы «мадама Маринка» приходила к нему чинить свои туфли почаще, а значит,

почаще приносила плату за работу. Очень может быть, «плохой селовека» нарочно ставил ее подметки на самый некачественный клей – не из рыбьих костей, к примеру сказать, сваренный и считающийся самым лучшим, самым крепким, самым хватким, а сварганенный из какой-нибудь картофельной шелухи. Но так или иначе, а к другому сапожнику дорога Марине была заказана. Ну как углядит, что на подшивку ссыльная фельдшерица приносит не что иное, как прочную резину с автомобильных шин?! Очень запросто можно в полицию за такое угодить и подвергнуться строжайшему допросу: откуда вы, сударыня, взяли сие? Какому автомобилю шины порезали? Ведь и моторизованная техника, и «обувь» для нее вся наперечет – по законам-то военного времени!

Вернувшись домой, Марина первым делом пошарила в сених за кадкой, в которой томилась свежепросоленная горбуша. Там был тайник, туда они с Сяо-лю прятали запас резины для подметок. Ну конечно, ничего нет. Последние полоски резины Сяо-лю отнесла «хунхузу» две недели назад. Значит, чтобы завтра отдать туфли в починку, нынче придется идти на промысел.

Марина вышла на крыльцо. Сяо-лю возилась с Павликом во дворе, качала его в большой корзине, подвешенной к дубовому суку. Марина окликнула маленькую няньку и приказала сбегать за подметками – «на склад», как это у них называлось. Сяо-лю сложила ручки перед грудью, поклонилась, сунула, по обыкновению, длинную косу под ворот халата, чтоб не мешала, и побежала через огород к забору между домом Марины и кладбищем.

Стоило ей скрыться из глаз, как Павлик начал орать благим матом. Марина потрянула его раз и другой, потом посильнее. Он не унимался. Марина взяла его на руки... Но Павлик кричал и вырывался, он хотел вернуться в мягкие, ласковые, маленькие руки Сяо-лю, ему не нравились твердые ладони матери (а потаскай-ка тяжеленный американский саквояж с жесткой ручкой, небось у кого угодно они затвердеют!), а еще пуще не нравился ему запах карболки, которым она была вся, от одежды до волос, пропитана. Конечно, Павлик не знал, что это называется «карболка», просто его тошнило от ее запаха и отвращало от матери. Сяо-лю почему-то пахла сладко, а мать – горько...

Марина смотрела на сына, и злые слезы кипели на ее глазах. Да что же в ней есть такого, что любой мужчина норовит от нее отвернуться, оскорбить, бросить ее? Сначала отец, потом любовник, теперь сын?!

А она-то ради него... Она терпит ради него такие лишения, сама куска хлеба не съест, кружки молока не выпьет – сыну принесет. Она ради него готова была зубами горло рвать каторжнику, который ломился в дом! А он... он даже внешне больше похож не на нее, не на Андрея Туманского, а на своего деда, Игнатия Аверьянова, акулу капитализма...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

То есть сшитый из ровдуги, рыбьей кожи. (Прим. автора.)

Купить: <https://tellnovel.com/ru/elena-arseneva/osen-na-krayu-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)